

Прочити - бистити кинети - и «Продавати»
александр
Кабаков

МАРШРУТКА
МОСКОВСКИЕ СКАЗКИ



Александр Абрамович Кабаков

Маршрутка (сборник)

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=430942

Александр Кабаков. Маршрутка. Московские сказки: АСТ; Москва; 2010

ISBN 978-5-17-065881-7, 978-5-271-27086-4

Аннотация

«Маршрутка» – рассказы Александра Кабакова, лауреата премий «Большая книга» и «Проза года». Автор собрал в книге сказки на современный лад и просто истории с хорошим концом. Здесь есть и Красная Шапочка с Серым Волком, и Летучий Голландец с Царевной-лягушкой. Они приспособились к нашему времени и ходят по московским улицам, как обычные жители! «Маршрутка» – байки о городе, в котором мы привычно живем и который, оказывается, может быть абсолютно непредсказуемым!

Содержание

Московские сказки	4
Голландец	4
Проект «Вавилон»	13
Ходок	22
Странник	32
Конец ознакомительного фрагмента.	39

Александр Кабаков

Маршрутка

Московские сказки

Голландец

Впервые он был замечен около одиннадцати вечера (в протоколе было записано так: «В районе 23:00 ночи...») на Кутузовском проспекте.

Стоял январь, снежные змеи ползли по уже пустоватой в это время суток правительственной дороге, трафик – извините, лень заменять более русским словом, да разве и это еще не сделалось русским? – сошел практически на нет, лишь изредка пролетали в направлении знаменитых пригородов автомобили самых дорогих марок и моделей да упрямо тащился неведомо куда одинокий четырехеста двенадцатый «москвич» с кривым, нагруженным всякой дрянью багажником на крыше, дрожавший на морозе всеми крыльями и полусонно моргавший грязными фарами. А в сторону центра и вовсе никто не ехал, вот только пугливая «газель» проскочила почти незаметно по правому ряду и свернула в темный переулок по своим мелкооптовым делам.

Тут все и началось.

Трагический герой происшествия, которое спустя небольшое время случилось – или случая, который произошел? – в этих краях, двигался в сторону области в крайнем левом ряду, нарушая скоростной режим и еще ряд ПДД, а именно ехал, собственно говоря, даже не в левом ряду, а по резервной полосе, с включенным проблесковым маячком, на каковой не имел установленных правилами документов, находился в состоянии алкогольного, а также наркотического опьянения и видал всех на... Впрочем, что ж тут много говорить, и так все понятно. Звали водителя Абстулханов Руслан Иванович, и зачем он так неправильно ехал на большой японской машине-внедорожнике (джип), знал один только Аллах, всемогущий и всеведущий, но и то, наверное, сейчас уж забыл, поскольку было это давно, информации же такого рода поступает наверх немерено...

И зачем Руслан Иванович в ночном клубе, принадлежавшем, кстати, его хорошему приятелю, депутату и прогрессивному юноше Володичке Трофимеру... ладно, о Володичке в другой раз... так вот: зачем Абстулханов Руслан, которого друзья и правоохранительные органы чаще называют для легкости просто Абстул, пил в ночном клубе виски, нюхал кокаин, а под конец еще догонялся шампанским, хотя делать все это упомянутый Аллах вообще категорически запрещает? Ладно, виски Абстул, как всем известно, любит, кокос на этот раз был исключительно качественный, а шампанское – французское настоящее, оно даже в супермаркете под стоху тянет, не то что в клубе... Но зачем же перед дорогою-то?! Ну, не знаю. Точнее, мне кажется, что знаю, но объяснить вам не смогу. Понимаете – ему можно. Ему, Абстулу, можно ездить пьяным по осевой – вот еще спросите, зачем по осевой, если дорога вообще пустая, – и со скоростью сто шестьдесят километров в час, и с мигалкой, потому что жизнь устроена правильно, она приспособлена для него и его друзей, а никак не для вас, что вы привязались, честное слово! И Аллах, который, между прочим, есть просто Бог, один на всех, тут совершенно ни при чем. Хотел Абстул – и пил, и нюхал, и обнимал даренных Володичкой красавиц, захотел – сел и уехал. А если вы никогда за руль не садитесь выпивши, кокаин же вообще видели только в кино, то и правильно, и не нужно вам, и успокойтесь.

Да.

Значит, продолжим.

Джип мчался по осевой, обильные ночные огни Москвы сверкали по сторонам и над дорогой, а бедный Руслан, уверенно (отдадим ему должное) держа дорогу, дремал, просыпался, вспоминал, куда он едет, снова дремал, а огромная машина неслась себе...

Как вдруг Абстул почувствовал, что он не один, что кто-то наблюдает за ним, будто глазок в двери камеры приоткрылся беззвучно.

Глянул сначала Абстул направо – никого, пустое кожаное сиденье пассажирское, над ним густо тонированное боковое стекло, за стеклом пустой проспект.

Глянул тогда налево Абстул и увидел его.

Он представлял собой автомобиль типа универсал, называемый обычно нашими автолюбителями «сараем» и любимый в Европе многосемейными людьми, а у нас в основном предпринимателями, не образующими юридического лица, но просто торгующими на вещевых рынках всяким барахлом, которое как раз в таких автомобилях перевозить очень удобно. Модель этого народного автомобиля, которую увидел слева от себя Абстулханов Руслан, сделалась самой распространенной в России примерно через десять лет после того, как выпускать в Германии ее перестали.

«Не хило, – подумал Абстул, – я сто шестьдесят иду, и он сто шестьдесят идет, я по разделительной иду, а он по встречке идет конкретно, как такой лоховской „сарай“ идет сто шестьдесят, почему ментов не боится и как он арку, дятел, объезжать будет, если эта арка через километр уже, даже меньше, блин?!»

То есть ничего такого он, конечно, не подумал, подумал только: «Ни фиги себе!», – вернее, не совсем так, а... В общем, некогда тут уточнять слова, потому что имперская тень Триумфальной уже близко.

Абстул крепче берет руль, уходит вправо, в законный ряд, и, минуя памятник, глядит в левое зеркало, ожидая увидеть в нем кувырок, как в американском кино, и прислушивается, ожидая услышать резиновый визг и железный удар, – но не видит и не слышит ничего. Позади темная и пустая дорога, только рекламы светятся в черном небе гнилым светом, а до слуха доносится лишь душевная песня хорошего радио, на которое всегда настроен приемник в джипе. И Абстул, слегка тряхнув головой, чтобы окончательно взбодриться, немного сбавляет, поскольку скоро уже поворачивать на Рублевку, а через полчаса тормозить перед домом, или, как говорится, коттеджем, где сейчас первый этаж практически готов, там семья Абстулхановых и живет, а к лету бригада все достроит, получится дом у Руслана Ивановича не хуже, чем у соседей, уважаемых даже по меркам этого шоссе людей, а тогда можно будет привезти еще братьев и поставить их точки держать, самому же пора что-нибудь поспокойнее взять, клуб, допустим, как у Володички, а потом...

Он уже не крутил головой, а сразу увидел этот проклятый «сарай». Теперь ржавая развалина была справа, неслась вровень, борт в борт, мешая менять рядность перед поворотом. «Ничего себе, – опять подумал примерно так Абстул, – я сто сорок иду, и он сто сорок идет, откуда, вообще, блин, он взялся справа?!»

Ответа на этот вопрос, как и на предыдущие, он не нашел, да и не мог найти, потому что уже в следующую секунду увидел то, что будет подробно описано ниже, и лишился рассудка.

Салон универсала, не сбавлявшего ход и летевшего справа от джипа, осветился ярким, клубящимся голубым светом, будто в нем зажгли не обычную полудохлую потолочную лампочку, а зенитный прожектор. В этом свете стали отчетливо видны водитель и пассажиры проклятого экипажа. Все они были одеты вполне обычным образом: в черные кожаные куртки и черные же вязаные шапки. Но между воротниками курток и шапками увидал уже психически больной гражданин Абстулханов Р.И. не заросшие модной и этнически естественной щетиной смуглые лица, чего скорей всего можно было бы ожидать; не бледные,

налитые нездоровой полнотой щеки и крепкие шеи тяжелоатлетов титульной национальности, что было бы нежелательно, но тоже понятно; не бессмысленные испитые рожи обкурившихся до остекленения подростков, что было бы противно, но неопасно; даже не физиономии ментов в штатском, исходящие служебной наглостью и жадностью, что не сулило бы никаких проблем, кроме потери небольших бабок... Нет, о нет, ничего такого не увидел несчастный!

В сияющей голубым огнем машине скалились длинными кривыми зубами бурые черепа, тонкие кости запястий высывались из кожаных рукавов, и голые, гладкие, блестящие полированной желтизной фаланги лежали на баранке.

«Сейчас я их сделаю», – глупо подумал Абстул, придавил подошвой длинноносого итальянского ботинка педаль и, ювелирно подрезав адских выползней – сама собой сработала моторика опытного подставлялы, – сразу ушел сильно вперед. В зеркалах – и в правом, и в левом, и в верхнем – возникла черная пустота. «В мертвой зоне остались, уроды», – вполне логично на этот раз решил Абстул и засмеялся в полный голос, и смех его, несмотря на то что окна в машине были плотно закрыты, разнесся над всем проспектом.

Хохот безумца летел над престижными домами тоталитарной постройки, окна в которых были в основном уже новыми, с белыми рамами, и вместе с телевизионными тарелками свидетельствовали о состоявшейся в нашем обществе смене элит; над дорогими магазинами и ресторанами японо-итальянской кухни, в одном из которых попал когда-то Абстул под автоматный расстрел, но обошлось, только лоб оцарапало щепкой от барной стойки; над высотным элитным жильем, вознесшимся к недостижимым московским небесам, где летят, оставаясь на месте, облака, ночью невидимо-черные, днем дымно-серебряные, а на заре и в сумерках сиренево-золотые, и сидят на этих облаках наши души, поглядывают вниз, где пока суетимся мы телесной суетой, и раздумывают, не пора ли плюнуть на все сверху да и отлететь от нас навсегда куда-нибудь повыше, в разреженные слои... И многие жители Кутузовского, кто еще не спал, ужинавшие с вином или отдававшиеся телевизионным передачам, беседовавшие в приятельском кругу или поглощенные бесчинствами любви, слышали этот дикий хохот, но сочли его кто эхом обычного взрыва, кто воплем диджея, прорвавшимся сквозь стены какого-нибудь клуба, а те, кто уже спал, во сне решили, что это им снится.

Руслан тем временем уже сворачивал на Рублевку, уже выходил напрямую к МКАД, курил сигарету, жмуря от дыма левый глаз, и разум, бултыхаясь и булькая, понемногу снова втекал из окружающего пространства, где он едва не рассеялся мелкими каплями, в голову бедняги. Если бы на том все и кончилось, то, возможно, к утру не осталось бы никаких последствий, кроме обычного похмелья.

Однако дьявольский экипаж, как и следовало ожидать, появился снова. Как представишь, что это мы оказались там, в обреченном джипе... Свят, свят, свят, с нами крестная сила, спаси и сохрани!

Чертов автомобиль ехал впереди, как будто так и надо: «пассат-вариант» девяностого года обгоняет новенький «лендкрузер» на ста пятидесяти.

И снова осветился, словно долгой молнией, салон с мертвецами, и двое с заднего сиденья вылезли в окна на обе стороны, обернулись, и черепа, словно на шарнирах, прокрутились на сто восемьдесят градусов, ощерились подлыми улыбками, в упор уставились на Абстулханова черными бездонными дырами, и один из них, шутник, поощрительно покачал костями пятерни – мол, обгоняй, пацан, чего жмешься сзади...

Сровнялась под крепкой ногой педаль с полом, рванулся джип и обошел-таки машину смерти, и последнее, что заметил Абстулханов Р.И., 1978 года рождения, уроженец города Нальчика, – белую на сером вражьем багажнике овальную наклейку с двумя иностранными буквами NL, что, как ему не было известно, но известно многим, обозначает «Нидерланды», то есть «Голландия».

Что было дальше? Известно что. Джип, не снижая скорости, врезался в опору надземного пешеходного перехода, частично разрушил эту опору, сам же превратился в хлам, в комок смятого и изорванного металла, в ночной кошмар. Жертв не было, за исключением известного уже нам Абстулханова. Он находился в нетрезвом состоянии, превысил разрешенную на этом отрезке Рублевского шоссе скорость, не справился с управлением и скончался на месте. Спасатели с помощью спецтехники отделили тело погибшего от его автомобиля, но ни они, ни работники ГИБДД не смогли определить, из какого узла внедорожника марки «лендкрузер» вылетел предмет, пробивший насквозь грудь пострадавшего, пронизавший сердце, вышедший под левой лопаткой и воткнувшийся глубоко в спинку кожаного сиденья, так что покойник оказался приколотым к машине, как прищипливает пойманную бабочку жестокий юный натуралист. Предмет представлял собой почти метровой длины прямой прут из гладкого дерева неизвестной породы, на одном конце которого был закреплен острый треугольный кусок металла, а на другом – несколько коротких птичьих перьев. Предположение одного из гаишников об убийстве, которое было совершено этим предметом еще до аварии, так что наступление ДТП следует считать следствием уголовного преступления и, может быть, надо бы вызвать опергруппу, было отвергнуто руководителем в таких словах: «Ты, блин, кончай здесь хренотень разводить. Туземцы его замочили, что ли? Дай сюда стрелу, долбонос, и делом займись, позвони, чтобы эвакуатор гадский ехал, а то мы здесь до утра загорать будем, а утром кортежи в город пойдут, увидят эту „Формулу один“, мало нам не покажется, понял, нет?» И с тем стрелу, посланную из тьмы, забрал, и ни в каком документе она никогда не фигурировала.

А на пересечении Рублевского шоссе с Московской кольцевой автомобильной дорогой дежуривший там сотрудник Государственной инспекции безопасности дорожного движения старший лейтенант милиции Профосов Н.П. примерно в двадцать три часа пятнадцать минут того же вечера заметил движущийся с большой скоростью автомобиль «фольксваген пассат-вариант». Госномеров инспектор зафиксировать не смог, так как был ослеплен идущим изнутри машины ярким голубоватым светом, но успел в этом свете заметить, что салон совершенно пуст, то есть и водителя нет буквально никакого. Старший лейтенант по выработавшейся на правительственной трассе привычке отдал было этому безусловно специальному транспортному средству честь, но потом опомнился и, с трудом меняя движение руки в толстом рукаве зимней куртки, перекрестился. Пустой же автомобиль унесся в сторону раздоров, жуковок и многочисленных горок, и лишь минут через пять оттуда, где мерцало, быстро удаляясь, голубое сияние, к ногам Николая Петровича Профосова прикатился небольшой, со скромную дыньку, круглый предмет. Коля наклонился, чтобы рассмотреть явление поближе, и увидел череп с редкой паутиной костных швов на макушке, с крупными зубами, в одном из которых блеснула золотой искрой старая пломба, с загадочными провалами глазниц и пустым треугольником носа. Некоторое время милиционер стоял согнувшись, еще только начиная терять сознание, но тут с северо-запада прилетел растопыренный скелет человеческой кисти и твердыми костями огрел его по затылку, точно под краем ушанки. От этого ушибленный ткнулся носом в снег, встал на четвереньки, постоял так с полминуты и медленно повалился набок, поджав к животу ноги, как эмбрион. А череп и кости мгновенно рассыпались в прах.

Как впоследствии сложилась судьба этого человека, неизвестно. То есть из органов-то он уволился, это точно, потому что не мог вынести недоверия товарищей к своему рассказу, а куда потом устроился и чем теперь живет, никто достоверно не знает. Были слухи, что иногда в лунные ночи появляется на том самом месте, где погибла душа Профосова, гаишник, от которого исходит голубое свечение, и что в руках у него вместо полосатой палки крупная берцовая кость, но это, конечно, чушь. Кто бы это позволил на особо режимной трассе стоять таким гаишникам?

А вот что нечистый «пассат» потом видели многие и в разных местах, тут сомнений нет. Некоторые даже остались живы, так что их впечатления стали нам доступны непосредственно, а не через нашу художественную фантазию, как предсмертные мысли и чувства покойного Руслана Абстулханова.

Например, известно, что однажды ранним и свежайшим июльским утром ужасный автомобиль ехал очень медленно по Ленинградскому проспекту, просыхавшему после ночного дождя.

По этой же знаменитой своими пробками и только на рассвете опустевшей московской магистрали ехала в автомобиле «пежо-206» очаровательная молодая дама. Звали ее – да и по сей день зовут – Олесея Грунт, но Грунт она по первому мужу, а девичья фамилия, конечно, Терebilко. Лет шесть тому назад приехала она в столицу России из курортного города Феодосии, некоторое время бедствовала без регистрации, жилья и работы, кое-как прокармливаясь в ночных клубах (к слову, бывала она и у Володички Трофимера, но это так, между прочим, чтобы напомнить вам, как тесен мир и узок круг известных людей) и одевавшаяся с вещевых рынков, однако вскоре познакомилась с молодым финансистом Борисом Матвеевичем Грунтом, как раз тогда завершившим свой жизненный путь из секретарей институтского комитета комсомола в миллионеры, и вышла за него замуж. Детей, слава богу, не получилось, и Грунт уже через полтора года развелся с Ольгой, оставив ей фамилию, отремонтированную и обставленную четырехкомнатную квартиру на Усиевича, соединенную из двух квартир деятелей бывшей культуры, элегантное имя «Олеся» вместо природного «Ольга Митрофановна» и кое-какие деньги. Сам же Боря побыл недолго под следствием и судом, помелькал на телеэкране да и поселился в испанской провинции Каталония, климат там действительно хороший. А Олеся снова зачастила по клубам, теперь уже не на пропитание, но в свое удовольствие, пользуясь большим и заслуженным успехом у мужчин-друзей – название «бойфренд» нам отвратительно. Друзья эти ритмично и плавно сменялись, и каждый оставлял Олесе добрую о себе память. Кто в виде колечка, действительно очень миленького, не в каратах дело, кто в мягком образе шубки, дорогой, конечно, но, главное, очень теплой и легкой, как положено шиншилле, хотя бы и крашенной в актуальный розовый цвет, а кто и просто в платиновой карточке одной из популярных платежных систем... В ходе такого развития жизни возник и кратковременный господин, отметившийся в биографии светской дамы вышеназванным автомобилем «пежо-206», модной светло-зеленой машинкой, на которой в то роковое утро Олеся Грунт возобновляла, пользуясь пустотой дороги, приобретенные когда-то впрок навыки вождения.

Тут-то и появился он, четырехколесный посланник Инферно.

Олеся, не увеличивая скорости и не отвлекаясь от управления, то есть робко и старательно делая двадцать километров в час и вцепившись до побеления суставов в руль, покосилась налево. Рядом ехала большая серая машина, марку которой она, конечно, не определила, но заметила, во-первых, что это автомобиль того типа, который у нее на крымской родине назывался «пикап» и использовался зажиточным соседом для перевозки всей семьи вместе с курами, размещенными в клетках позади сидений, во-вторых, что машина сплошь ободранная и ржавая, изъеденная гнилью по всем швам и краям кузова, и, в-третьих, что стекла странного экипажа абсолютно черные, как бы тонированные до неестественного, никогда ей прежде не встречавшегося предела.

«Хм, – подумала Олеся, – какая машина».

И немедленно, будто кто-то уловил ее интерес, правое переднее стекло дьявольского «пассата» – конечно же, это был он – поползло вниз.

Уловив краем глаза это движение, Олеся снова покосилась влево, а затем произвела почти одновременно несколько действий, каждое из которых изобличало в ней настоящую женщину, пусть и закалила ее суровая московская жизнь, пусть подруги считали (и сейчас

считают) Ольку холодной и расчетливой. Прежде всего она закричала без слов, просто «и-и-и!», самым тонким из доступных ей голосов. Одновременно она прижала ногой первую попавшуюся педаль, отчего несчастная французская механика взвыла и прыгнула вперед, как кенгуру, но тут же и встала, поскольку мотор заглох, а водительша уже перенесла упор на соседнюю педаль, то есть на тормоз. Ну и, конечно, закрыла глаза.

Увидела же она вот что: за опустившимся стеклом открылась не внутренность нормального автомобиля, освещенная серо-сиреневым светом утра, а бесконечное пространство тьмы, будто там, в салоне, вместились вся чернота мира. Стекла-то были нормальные, прозрачные, это за стеклами начиналась преисподняя. И смотрел из этого передвижного ада на злосчастную Олю Теребилко безносый череп, скалился, завлекал томным пустым взглядом.

Бедная, бедная женщина! Вы только представьте себе этот ужас: утро как утро, даже прекрасное, центр Москвы в районе «Аэропорта», впереди все только приятное, лет еще совсем немного, ну пусть тридцать, разве это годы – и вдруг тьма и смерть... Ох, пронеси, Господи, не дай погибнуть!

А когда Олеся Грунт открыла наконец глаза, пуст и чист был Ленинградский проспект, и никакого следа не осталось от машины-призрака. Олесин автомобильчик стоял, косо ткнувшись в бордюр, выла почему-то сигнализация, руки, вцепившиеся в руль, мелко дрожали, и никого, никого не было вокруг.

Ну что же? Истерика истерикой, но вот уже найден в свалке сумки телефончик, из последних сил набран номер самого верного приятеля, немедленно, отдадим ему должное, примчавшегося целым караваном, на могучем «ауди» и с «гелендвагеном» охраны, «пежо», нисколько, кстати, не пострадавший, отправился на стоянку, а владелица его всего через час-другой была обследована отличным психотерапевтом в самой дорогой из дорогих клиник, назначили ей хорошие антидепрессанты, массаж, общеукрепляющий режим, потом она уехала в швейцарские горы, оттуда на неугомный остров Ибицу, где вовсю веселилась, почти забыв привидевшийся кошмар, и вернулась только к осеннему сезону как ни в чем не бывало, и лишь стилист-визажист теперь имеет небольшие дополнительные хлопоты с абсолютно седыми волосами. Сначала он долго прикидывал, не стоит ли в связи с этим вообще поменять имидж, однако остановился на обычной краске – конечно, самой эффективной, но и только.

А приятель, который пришел в трудный час на помощь, из чистого любопытства узнал, между прочим, по своим каналам обо всех дорожных происшествиях, даже мелких, случившихся в ужасное утро. И выяснил, что приблизительно через семь минут после того, как Олеся опомнилась и попросила по телефону помощи, экипаж одной из патрульных машин никогда не дремлющей ГИБДД обнаружил серый «фольксваген пассат-вариант», медленно скользящий по самой середине Ленинградского проспекта вблизи метро «Сокол», не доезжая развилки на Волоколамское и Ленинградское шоссе. Чем-то привлекла внимание бдительных милиционеров эта вроде бы заурядная на первый взгляд старая машина, они ее догнали, что не составило труда, поскольку тяжелый универсал плавно, будто во сне, катил со скоростью никак не больше сорока километров в час, пристроились слева и увидели – все стекла «пассата» были опущены – совершенно пустой салон. Серьезные и опытные мужчины в истерику с мистической окраской не впали, сочтя резонно, что какой-то чайник забыл поставить свой драндулет на ручник, он и укатил, разгоняясь на уклонах, хорошо еще, что дорога пока пустая, не въехал ни в кого. Вызвали тут же технический грузовик, чтобы поставить его поперек движения и так остановить беглеца, а сами продолжили сопровождение, разгоняя редкие попутные машины громкими требованиями принять вправо. Хотели было, чтобы не терять времени, пробить по своей связи номера и начать поиски владельца, но тут-то заметили, что номеров никаких нет, а есть только овальная наклейка с буквами NL, не

означающими ничего, кроме того, что когда-то автомобиль был зарегистрирован в Королевстве Нидерландов, то бишь в Голландии.

И тогда один, наиболее культурный из вытянувших страшный жребий сотрудников, вроде бы даже студент вечернего юридического, сказал роковые слова.

«Ну, ебучий голландец!» – вот что он сказал.

Тут же исчез заколдованный «пассат», а на его месте осталась только кучка серого песка, да и ее через мгновение унес ветер.

Патрульная машина тоже исчезла, до сих пор она находится в розыске, так же как и весь ее экипаж.

И приятель Олеси Грунт исчез, кажется, уехал в Англию, купил в Лондоне, в районе Хайгейт, приличный дом, живет там с семьей и друзьями, но, возможно, что и там его нет.

И самой Олеси Грунт что-то давно не видно нигде, не была она даже на показах Недели высокой моды, а уж там она бывала в прежние годы обязательно. Нет, никаких опасений за ее судьбу друзья не испытывают, все, кажется, с нею в порядке, но где она?

И «фольксвагена» того, будь он проклят, хотя он, конечно, и без наших пожеланий проклят, больше нету.

Или есть?

Черт его знает.

Вот ехал как-то на дачу известный политик N, не будем называть фамилию, она и без того у всей страны на слуху. Крупный политик, вы наверняка его знаете, много раз по телевизору видели и слышали. И вот ехал он на дачу по Минскому шоссе, там у него неплохая дача, полгектара, три этажа, ну камин, бассейн, что там еще. Факт только, что все построено на деньги, полученные за лекции в западных университетах, это и в декларации указано. Ну и вот ехал он на дачу, но не доехал. Кто-то вроде бы видел, как обогнал его казенную машину производства баварских автомобильных фабрик старый и разваливающийся на ходу серый универсал, подрезал, подставил корму – и конец политику.

Ржавому рыдвану хоть бы что, а новенькая БМВ в лом.

И каким-то удивительным образом край отлетевшей крышки багажника буквально отрубил этому N голову, представляете?

А из бандитской машины – кажется все-таки, что «пассата», – вышли скелеты и прямо на шоссе давай играть одной из лучших в России голов. Футбол, блин!

Впрочем, не верится в этот вздор. Ну как это можно – белым субботним днем, на оживленном Минском шоссе?..

А с другой стороны – N-то пропал... Ушел из политики, и где он теперь, чем занимается – неведомо. Не то в каком-то совете директоров, не то в штате Висконсин студентам университета курс основ демократии читает... А некоторые уверяют, что лечится в Израиле от синдрома приобретенного за годы политической деятельности иммунодефицита и уже на поправку пошел... Ничего не поймешь, кроме одного – пропал.

А то еще был в Москве популярный молодой человек разносторонних способностей по имени Тимофей Болконский. Уж из каких он происходил Болконских, кто его знает, может, непосредственно из книги Л. Толстого, а возможно, и сам по себе, от папы, который тоже в свое время гремел, получал партийно-правительственные премии и награды. Впрочем, папа, кажется, вообще был Балконский, от «балкона»... Тимофей же прославился как клипмейкер, политтехнолог, держатель ресторанов и мастер экстремального спорта – он и в Альпах рассекал склоны, и в Индийский океан погружался с головой, и просто так на мотоцикле ездил каждый день, утром из дому в студию, вечером из ресторана домой. Была у него чудесная многодетная семья, с которой он фотографировался для журналов домашнего быта, был и друг, с которым его связывали настоящие мужские отношения, нежные и ласковые, с другом Тимофей фотографировался для остальных журналов.

В общем, все было хорошо.

Но настало время – и Тимофей тоже пострадал от дорожного привидения.

Ехал на мотоцикле, ветер свободы остужал бритую наголо, как теперь принято в приличном кругу, голову, в бритой голове складывалось новое, патриотическое и современное, меню подвластных ресторанов: суши из осетра, фирменная пицца с вязигой, щи-пюре суточные... И вдруг – рядом машина, черепа, скелет высовывает в окно и тянет к беспечному ездоку свои цепкие кости, одним рывком вынимает Тимофея из седла, подтягивает к своей омерзительной харе, всем знакомой благодаря портретам на трансформаторных будках, и прямо в лицо, в маленькую бородку, в ухоженные щеки, в зажмуренные – в последний миг успел – умные глаза, плюет! Не разжимая отвратительно желтых зубов, плюет, сука, и ведь не слюною, гад, а смертным гноем, и мерзость эта смрадная виснет и на бородке, и на ресницах... Как пережить такое? Скажите, как?

А Тимофей пережил. Отлетел, отброшенный нечистой силой, на обочину, полежал там... Вроде жив, кажись, без переломов. Приподнялся, сел на плешивом московском газоне, обтерся по-простому рукавом. Мотоцикл еще скользил на боку, выбивая вдаль искры из асфальта, но вот уж наехал на него могучий мусоровозный грузовик, вот уж и нет мотоцикла. Встал Тимофей Болконский и пошел пешком куда глаза глядят, то и дело обтирая лицо чем попало – и кожаным рукавом, и подолом недешевой рубахи, и просто ладонью, а ладонь потом о штаны, но все никак не мог вытереться досуха, да и запах преследовал.

Шел так Тимофей, шел, но никуда не пришел. Все в Москве уверены, что он уехал в Исландию и там практикует зороастризм, но никаких фактов под этой уверенностью нет. Что точно – выключил Болконский свои мобильные телефоны, и только друг знает, как с Тимофеем связаться: надо позвонить в одно гамбургское заведение, а оттуда соединят.

Еще ехали по московским улицам и проспектам, а также по шоссе в Московской области в разное время разные люди, но встретили голландца, выше названного грубым, но справедливым словом, встретили – и пропали. Среди них бизнесмены, работники средств массовой информации, служащие муниципальных и даже федеральных учреждений, представители криминальных и силовых структур, правозащитники, общественные деятели, поддерживающие как действующую администрацию, так и оппозицию, иностранные наблюдатели, военные и общегражданские пенсионеры, временно не работающие москвичи, легальные и нелегальные мигранты, мужчины, женщины и другие лица, трезвые, пьяные, находившиеся под действием наркотиков, ВИЧ-инфицированные, молодые, пожилые и среднего возраста... Все, нет сил продолжать, и места не хватит. Стоит отдельно упомянуть еще два случая: исчезновение боевой машины пехоты, числившейся за одной из дислоцированных в ближнем Подмоскovie дивизий, и инцидент с водителем маршрутного такси. При этом сразу оговоримся – причастность нежити к обоим случаям сомнительна. Что касается БМП, то ее, скорей всего, просто утопили в ходе боевой учебы на переправе или продали какому-нибудь любителю, так как весь экипаж сохранился и прибыл к месту службы вполне живым, но пьяным в лоскуты. А водитель маршрутного такси, отпахав четырнадцать часов подряд ради собственного заработка и хозяйских прибылей, почти наверняка элементарно заснул за рулем, съехал на обочину и там довольно мягко перевернулся. Слава богу, хоть пассажиров в тот раз не было, не дождался никого на остановке. Что же до золотого дуката, который он, придя в себя, обнаружил в вывихнутой руке, то это, конечно, наводит на определенные мысли, но с другой стороны – чего только наши пассажиры не подсовывают в кассы!

В общем, ладно.

Вот раздувается над горизонтом низкая сизая туча, прошибает ее солнечными лучами, тянутся их золотые струны от неба к земле, будто на картине давно забытого живописца средней руки, а вот и ветер поднялся, завертелся, понес всякий мелкий сор, и не то первая

дождевая капля упала, не то первый снег посыпался, или, может, вовсе ничего не произошло, истаяли незаметно облака, светлым металлом сверкнуло небо...

Неужто же мы станем бояться нечисти, которая еще, конечно, имеет место в нашем городе? Ну догоняет нас серый универсал, мелькает то в левом, то в правом зеркале, ну, кажется, старый «пассат»...

И черт с ним.

Что же это, что это, что?!

Проект «Вабилон»

В некоторой префектуре затеяли поставить дом по адресу: улица Петрова, владение 3. Все нормально – точечная застройка, монолит, без внутренней отделки, 1250 у.е. за квадрат, планировка квартир свободная, подземный паркинг на ограниченное количество мест по двенадцать тысяч за место, холлы, достойные соседи, круглосуточная охрана прилегающей территории. Раскидали рисунки, изображающие элитное жилье на фоне неба с облаками, по рекламным приложениям и журналам с картинками. Повесили несколько растяжек с грустными, если задуматься, словами «Ваша недвижимость ждет Вас», написав, конечно, вопреки правилам покойного русского языка, «Вас» с большой буквы, будто в личном письме. Пропели по радио контактный телефон, начинающийся для простоты запоминания с трех шестерок... В общем, закрутилось.

А что закрутилось-то? Ведь будущие квартиры еще висели на разной высоте в воздухе и были совершенно невидимы, и даже котлован еще не начали рыть в слежавшемся песке, которым когда-то засыпали для выравнивания ландшафта это место.

Но продажи сразу пошли неплохо, хотя некоторые разочарования у покупателей возникли, когда обнаруживалось, что «у.е.» – это условные евро, а не нормальные баксы. Однако, подпираемые готовой на все очередью, представители быстрорастущего среднего класса вынуждены были соглашаться с представителями застройщика, резонно возражавшими, что если бы речь шла о долларах, то так бы и было написано – USD, \$ или, на крайний случай, «ам. долл.». А представление об «у.е.» как об условной единице американских денег безнадежно устарело в связи с дальнейшим подорожанием нефти, усилением ЕС, ну и так далее, не говоря уж о крепнущем наконец-то рубле. О'кей, евро так евро, на пятнадцати процентах не разоримся, говорил средний класс и буквально тут же вносил, сколько получалось по курсу ММВБ на день покупки указанных квадратных метров. То есть, конечно, не сам вносил, а водитель втаскивал, чего ж среднему классу такие тяжелые сумки поднимать. И тут же выдавалось соответствующее свидетельство: на правах собственности... именуемый в дальнейшем... площадь, этаж, адрес...

И никто в связи с воздушностью покупок и песчаной основой предприятия не вспоминал широкоизвестных идиом – все эти старинные идиомы среднему классу до фонаря.

Да, так насчет адреса. Место само по себе было выбрано очень хорошее. Метро недалеко, буквально десять минут на маршрутке, хотя кому оно, это метро, нужно, но все-таки. И автомобильный подъезд отличный, широкая улица, по две полосы в каждую сторону, метров пятьсот только осталось дотянуть асфальт до будущего дома. И зелень вокруг, особенно сильно все разрослось на месте бывшего карьера, прямо как джунгли, потому что там поверх бывшей свалки уложили плодородный слой, и теперь это сквер Памяти Жертв, поскольку бывшее кладбище тоже перекопали. И конечно, воздух, чище воздуха нигде в городе нет, тут же из окон, начиная с четырнадцатого этажа, реку будет видно! И даже микрорайон Нижнее Брюханово, который за рекой, в хорошую погоду тоже будет виден вместе со всеми его промзонами, вот какой прозрачный воздух. А инфраструктура! В двух шагах, сразу за кольцевой, торговый комплекс один, возле метро другой, в Брюханове третий, и в каждом – кинотеатр долби-стерео, японский ресторан китайской кухни, боулинг, фитнес, а возле метро еще и клиника, где липосакцию делают, не надо даже никуда ехать, пожалуйста, тут же забежал и сделал... Что правда, то правда – казино далеко, это да. Ближайшее в Брюханове, но туда, конечно, одни местные ходят. С другой же стороны, не каждый ведь день в казино нужно, а два-три раза в неделю можно и в центр съездить.

Но что касается собственно адреса, то он действительно оставлял желать лучшего. Потому что в адресе скрывалась смущающая слух и ум неопределенность.

Улица Петрова – ладно, а какого Петрова? При старой власти считалось, что Петров был героем Гражданской войны со стороны красных, командармом и кавалерийским стратегом. Поэтому, как только новая власть круто повернулась к исторической справедливости, решили вернуть улице исконное название, то, которое она носила при совсем старой власти, когда командарм Петров, еще не ощутив в себе революционного полководца, служил простым казачьим есаулом и брал призы за джигитовку и рубку лозы. Однако тут же работники комиссии по обратному переименованию столкнулись с существенной трудностью: выяснилось, что никакой улицы тогда здесь вовсе не было, а стояли сохранившиеся на единственной фотографии в документальном беспорядке кривые избы деревни Верхнее Брюханово. Жители этого поселения занимались извозом, продавали по ближним окраинам города яйца и козье молоко, большую же часть времени – пока стоял хоть какой-нибудь лед на реке – посвящали упорным дракам с обитателями Брюханова Нижнего. Во время этих драк, особенно если Пасха бывала поздняя, под конец лед обычно проваливался, и обе стороны оказывались одновременно в положении известных псов-рыцарей, русская же победа не доставалась никому... Впоследствии Нижнее Брюханово, как уже было мельком сказано, переросло в микрорайон с большим количеством пяти и девятиэтажных жилых домов еще не улучшенной планировки, с грузовыми дворами и градирнями. А от Верхнего Брюханова вообще ничего не осталось, кроме карьера и кладбища жертв разных событий, а потом на месте карьера и кладбища сделалась вот эта самая улица не очень известного героя Петрова, редко застроенная высокими домами, отчего напоминала она подготовленный к зубному протезированию рот.

Но не в том дело, это мы отвлеклись, а в том, что названия, которое можно было бы вернуть улице Петрова, не оказалось. Возникла у одного вольномыслящего краеведа, входившего от общественности в топонимическую комиссию, идея присоединить к Петрову еще и Водкина, но была тут же отвергнута, потому что никакого отношения к рассматриваемой улице этот художник не имел, аллюзии же и ассоциации могли возникнуть у рядовых граждан нежелательные. И действительно: от идеи возле ближайшего метро остались два конкурирующих заведения – кафе-бар «Петров-Водкин» и шашлычная с залом игровых автоматов «Красный конь». Впрочем, спустя время в ходе борьбы с диким рынком их ликвидировали, на месте домиков из стекла и железных уголков обнаружились грязные сырые квадраты земли, а через пару месяцев здесь поднялся торговый центр «Петров-сити», построенный из стекла и уже алюминиевых уголков – капитально.

Пока же длились те баснословные времена идеологических перемен, нашелся и другой общественник, ни в какой комиссии не состоявший, который, однако, вышел письмом прямо на префекта. Он предложил назвать улицу Петрова просто Рождественской в честь церкви Рождества Пресвятой Богородицы, только что быстро и незаметно построенной на заваленном прежде ржавым ломом черного металла местном пустыре. И префект вроде был не против, и название получалось красивое, что признавали даже и немногие оставшиеся атеистами, и уже, говорят, дощечки эмалированные заказали... Но как-то не вышло. Нет в области разума объяснений, почему не вышло, только одно остается, особенно если учесть последовавшие в дальнейшем события, – Господь не попустил.

Кончилось же все тем, что один из членов комиссии (незадолго до ее роспуска) проявил удивительное чувство языка и изобретательность, хотя входил в эту гуманитарную комиссию как чисто технический представитель цеха эмалево-жестяной продукции. «Товарищи, – сказал жестянщик, помолчал, собираясь с силами исправиться, но „господ“ не одолел и извернулся: – друзья, ничего не надо менять. Потому что кто же из нас не помнит такое крылатое выражение, как „птенцы гнезда Петрова“? Это замечательное поэтическое выражение наводит нас на мысль, что если гнездо может быть Петрово, то почему же улица не может быть Петрова? То есть, я имею в виду, названная в честь великого царя, с одной сто-

роны, что соединит порвавшуюся было связь времен с Россией, которую мы едва не потеряли, и, с другой стороны, в память великого реформатора, что, я думаю, не нуждается в дополнительных мотивировках. Как вы смотрите, товарищи и друзья?»

Ну что тут можно сказать? Только удивиться, какие образованные и мыслящие люди встречаются у нас буквально на каждом шагу, в том числе и в такой внешне неприметной отрасли, как эмалево-жестяная промышленность. И ведь до чего хитер оказался, черт! Никакого переименования не потребовалось, а заказ-то цех получил, поскольку сумел умница всех убедить, что таблички с названием «улица Петрова» надо заменить новыми, где будет в соответствии со вкладываемым смыслом и духом русской речи белым по синему написано «Петрова улица». Через каких-нибудь полгода именно такие жестянки на домах и повесили, чистенькие и еще не облупившиеся.

Не обошлось, конечно, и без досадной мелочи: во всех официальных документах, в том числе и в финансовых, все писали по-прежнему, как была улица Петрова, так и осталась, но это уж ладно, это ничего, на историческую память народную не влияет.

И еще одна деталь: эмалировщик таки оказался кандидатом не то филологических, не то исторических, не то даже вообще философских наук, вот что. Он временно перебивался жестью в связи с неожиданным началом экономических реформ, а как только жизнь наладилась, быстро поднялся на торговле актуальным искусством, рекламе и политических консультациях, но с нашего горизонта исчез, так что больше о нем вспоминать не будем.

Тем более что уж давно пора вернуться на место застройки.

Каждый, кто подъезжал в автомобиле или добирался от метро пешком, издавдала, еще меся липкую и скользкую грязь последних незаасфальтированных пятисот метров, видел укрепленный на аккуратном, но уродливом заборе из рифленых бетонных плит огромный щит. На щите было цветное, сильно отличавшееся от картинок в журналах изображение будущего дома. Далее мы попробуем это изображение описать словами, хотя понимаем принципиальную невозможность переложения образов одного искусства на язык другого.

Прежде всего дом удивлял формой: не карандаш с остро заточенным шпилем, какой стал уже привычным для горожан, а круглая, широкая внизу и понемногу сужающаяся кверху башня. Стены вламывались в темно-синее небо и исчезали, разметав облака, теряя очертания в клубящейся черноте верхних воздушных слоев. И сами стены тоже были темные, не обычного желтого или хотя бы красного кирпича и не раскрашенные поверх высококачественной штукатурки яркими, невыцветающими финскими красками, а просто темного камня. От тяжелого, расползшегося основания, возле которого художник разбросал для масштаба мелочь кудрявых роц и густо-зеленые пятна полей, дом поднимался мощной спиралью, а по галерее, взбиравшейся с этажа на этаж, шли микроскопические люди, некоторые из них смотрели вниз, на землю, которую они оставили, другие же, задржав головы, глядели вверх, в небеса, пока для них неприступные.

Прямо жуть брала при разглядывании этой картины, до того огромен был дом, и сумрачно небо, и угрюма земля, и непроглядны рощи, и поля пусты, и люди жалки. Ах, люди! Ужо им...

Сбоку произведения, прямо по небесной черноте и облачной мгле, было написано багровым одно только слово – «БАБИЛОН».

Ниже – тот самый телефонный номер с тремя огненными шестерками.

И совсем внизу, как бы рукописным алым шрифтом, как бы кто-то пальцем порезанным мазнул, фраза из тех, которые теперь называют слоганами. «Достань до небес!» – вот такая фраза. Чего только не ляпнут ради рекламы... А о последствиях никто думать не хочет.

Отдадим должное всей этой картине: привлекала она внимание, просто невозможно было пройти или проехать равнодушно, многие записывали или запоминали соблазнительный телефон и задумывались: квартиры всё дорожают, вложение денег в любом случае полу-

чится неплохое, а спустя год-полтора окажешься вот там, на галерее, среди достигших неба, смелых и гордых, удачливых и сильных.

А за забором ворочался голливудским ящером экскаватор и суетились в глубине нулевого цикла таджики. Рыли они, почти не разгибаясь, и сверху казались такими же маленькими, как нарисованные люди, поднимавшиеся по нарисованной галерее. Однако при более близком рассмотрении землекопы оказывались вполне обычными таджиками – темнолицыми, мелкокостными и сухими. Выглядели они удивительно чисто для своего занятия и условий жизни в бараках бывшего пионерского лагеря, откуда их привозили на двенадцатичасовую смену и куда увозили в зашторенных небольших автобусах, как ОМОН.

Одновременно молдавские бригады, тихие и очень плохо одетые, подтягивали коммуникации, а кое-где уже начинали и заливку фундаментных сооружений, солидные украинские механизаторы управлялись с японской техникой, небольшой коллектив армян, ни с кем не общаясь, асфальтировал понемногу площадку... И над стройкой стоял ровный гул голосов, не заглушаемый полностью даже адским рычанием экскаваторного монстра, и в гуле этом можно было иногда разобрать повторявшееся с разными акцентами уважительное русское слово «мать» и другие необходимые слова общеупотребительного языка, только он и остался нам всем на добрую долгую память от безвозвратной родины.

По меньшей мере в неделю раз среди бетонного забора открывались, сползали на сторону железные ворота, показывался охранник в наваченном зимнем камуфляже, а мимо него на территорию, разбрызгивая грязь и переваливаясь, въезжали еще не ставший привычным даже в нашем городе автомобиль «бентли» особо британского синего цвета и суровая машина «ниттег-2», приспособленная для сравнительно мирного использования путем окраски в тон серого жемчуга и установки кожаных сидений. Прибытие кортежа означало, что на место действия явился для текущего ознакомления глава ОАО «Бабилон» господин Добролюбов Иван Эдуардович с охраной.

Названное выше лицо – в нашей повести важнейшее, упорно проявляющее деловую активность, так что следует сказать о нем несколько особых слов.

Фамилию Ваня унаследовал не от великого публициста-демократа, памятного всем образованным русским людям своею шкиперской бородой в виде бахромы, а непосредственно от отца, Добролюбова Эдуарда Вилоровича, офицера внутренних войск (когда-то называвшихся войсками МГБ), отслужившего календарных двадцать пять лет (а с льготными больше тридцати) и ушедшего в запас с должности коменданта отдельного лагпункта майором. В свою очередь Эдуард Вилорович получил фамилию по отцу Вилору (Владимир Ильич Ленин – Октябрьская Революция) Мефодьевичу Добролюбову, из крестьян Пермской губернии, член ВКП(б), последний пост-секретарь районного исполнительного комитета, 1903–1937, реабилитирован в 1958-м. А в той деревне, где родился Колька Добролюбов, впоследствии сознательно взявший современное имя Вилор, все вообще были Добролюбовы.

Однако что-то нас заносит в сторону имен и названий, обратимся же к сущностям.

Достойное происхождение совершенно не помешало Добролюбову И.Э. с ранней, еще даже не комсомольской, а пионерской юности встать на скользкий путь личной наживы. В городе Йошкар-Ола, где после выхода главы на гражданку обосновалась семья Добролюбовых, Иван был первоначально известен ровесникам и милиции как крупнейший поставщик жевательной резинки, «жувачки», которую он брал неведомо где. Затем подросший Добролюбов непредвиденно сделался активным комсомольцем, внештатным инструктором горкома и энергичным организатором студенческих стройотрядов, хотя сам студентом был недолго и армии избежал только по здоровью, потерявшему в ходе получения первого разряда по греко-римской борьбе. Потом...

Много чего было потом. Был даже на взлете перестройки год условно (немного опередил Иван решения партии, слишком резко развернулся в рамках посреднического коопе-

ратива «Юность»), переезд в Москву, трудная пора освоения рынка компьютеров, которые юному кооператору приходилось несколько раз самому привозить в ставшую на путь модернизации Россию: сидел рядом с водилой в кабине фуры, держал на коленях «калаш», зорко всматривался в тьму лихих польских дорог... Да, нелегко рождался нынешний цивилизованный отечественный бизнес, хотя бы вот то же самое ОАО «Бабилон», основанное и по сей день возглавляемое господином Добролюбовым. Сейчас это абсолютно открытое акционерное общество строит, как известно, элитное жилье для обеспеченных москвичей, которых делается все больше не по дням, а по часам. Работает компания в тесном взаимодействии со столичным правительством, так что даже самому отможенному и в голову не придет наехать при такой крыше, а сам президент «Бабилона» господин Добролюбов известен не только как крупный бизнесмен, но и как неутомимый меценат, поддерживающий материально многие культурные проекты. Например, он основал благотворительный фонд «Красота», через который идут немалые средства на украшение Москвы памятниками. И если б не «Красота», то не было бы ни известного трехсотметрового памятника Ивану Грозному, коего посох осеняет даль Комсомольского проспекта, ни многофигурной композиции «Победа русского флота при Цусиме», вставшей из вод Яузы, ни бюста Пушкина на колонне, превышающей, как и было велено поэтом, Александрийский столп, и заменившей наконец на Тверской прежнюю, полностью морально устаревшую и совсем испорченную голубями скульптуру...

И вот настало время осуществить давнюю мечту Ивана, еще детскую: построить самый высокий в мире дом.

Когда-то в городе Йошкар-Ола, читая случайно журнал «Смена», мальчик узнал о существовании в Нью-Йорке угнетающих человека домов в сто и больше этажей, о строительстве еще более высоких зданий в неокOLONиальном городе-государстве Сингапуре и других далеких от Йошкар-Олы местах. Он долго рассматривал немного смазанные фотографии небоскребов, вглядывался в мелкое сито окон и пытался представить себе, что вот за каждым таким прямоугольничком есть комната, возможно, даже большая, чем восемнадцатиметровая зала в их йошкар-олинской квартире, и в этой комнате, очень может быть, сейчас стоит у окна какой-нибудь человек и смотрит сквозь стекло в пустоту небес... Ваня подумал, что жизнь на небе никак не может угнетать человека, отложил журнал и подошел к окну, сдвинул тюль. С высоты третьего этажа (потолки хорошие, два семьдесят) ему открылся март: серый снег пустого двора, протоптанный короткими путями к магазину «Продукты» и к остановке автобуса, множество коричневых, расплывшихся по краям кучек, оставленных вокруг сараев людьми и собаками, и почти никакого неба. Прижавшись лицом к прохладному и влажному стеклу, которое тут же матово запотело, он вывернул голову, чтобы посмотреть вверх, но все равно увидел совсем немного неба, только узкую сизую полосу над крышей стоявшего напротив такого же двухподъездного четырехэтажного дома, вдоль стен которого по бугристым панелям тянулась толстая газовая труба, выкрашенная в голубой, а где не хватило краски – в зеленый масляный цвет... Вскоре Ваня отошел от окна и отправился по своим делам – «жувачку» в школьной раздевалке продавать.

Прошли годы. Отправив всю семью – супругу Оксану, детей Мефодия и Николая, а также родителей-пенсионеров – на зимний отдых в Австрийские Альпы, которые Оксане еще не надоели, Иван остался один в своем большом доме и заскучал среди прислуги. К слову, его, этот дом, хорошо видно с поворота на Николину Гору, многие обращают внимание, и вы видели наверняка – желтый такой, в русском усадебном стиле... Да, так вот. Некоторые непонятки с кредитами и в связи с этим необходимость его личного участия в переговорах между заинтересованными сторонами не позволили известному предпринимателю присоединиться к близким. Днем приходилось разруливать ситуацию, мирить и разводить. А вечером ехал Иван коротать время одиночества в каком-нибудь приличном месте, где можно

спокойно, среди своих, чтобы охрана не напрягалась, поиграть в бильярд, выпить пива хорошего – в последнее время предпочитал ирландское – или даже поужинать, как положено, с достойным вином, которое деликатно поможет выбрать этот, как его... сомелье, да.

Таким вот образом оказался однажды он в клубе своего близкого друга Володички Трофимера, популярного депутата и выразителя вкусов современной молодежи.

Ребята тем вечером собрались хорошие.

За соседним столиком сидела знаменитая красавица Олеся Грунт, последние полгода везде бывавшая – даже фотографии публиковались – с Сеней Белоглинским (марганец).

Чуть дальше располагался сам Петр Павлович («Вестинвест»), тихо ужинавший в компании сотрудников.

В углу задумчиво отдыхал с сигарой знаменитый кинорежиссер нового поколения («Друган» и «Друган возвращается»), клипмейкер и политический консультант, байкер и сын крупнейшего деятеля советской культуры Тима Болконский – блестел бритым черепом и серьгами во всех ушах, чернел маленькой бородкой. В то время, когда происходит действие этого рассказа, Тима еще не исчез из Москвы неведомо куда, не то в Республику Эйре, не то вовсе в Квебек, не предался еще огнепоклонничеству, не погрузился в дзен...

Неподалеку устроился, совершенно не привлекая к себе внимания, просто равный среди первых, небезызвестный N (МВД, Рособсчет, снова МВД, думский комитет по льготам и привилегиям). Он пока был жив, ничто не предвещало дурного.

И Руслан, кажется, Абстулханов, все его звали просто Абстул, как-то мельком познакомили его с Иваном Эдуардовичем Добролюбовым, могли возникнуть общие интересы в области привлечения привозной рабочей силы, но потом отпало, Абстул этот тоже там сидел, вроде бы уже принял сильно или нанюхался... Говорят, и он погиб вскоре, ну, следовало ожидать.

И еще там было много народу, все знакомые.

Сидели, выпивали-закусывали, приятно беседовали.

Постепенно, по мере того как время шло к полуночи и кончалась бутылка рекомендованного Ивану бордо, да и не только его бутылка, разговор делался, конечно, все более общим.

Потом все оказались почему-то за одним столиком, даже Петр Павлович, налили каждый своего напитка, замолчали и стали вдруг слушать Ваню Добролюбова, а он принялся произносить какой-то не то тост, не то доклад, и все молчали и слушали, и Олеська Грунт не сводила с него прекрасных лживых глаз.

Да, говорил Иван Эдуардович Добролюбов, я строю дома, и все знают, что нет в этом городе лучше домов, чем мои. Разве вы все не живете в моих домах, а те, кто еще не живет, разве не собираются в самое ближайшее время поселиться в одном из них? Где жили раньше вы все, исключая разве что Тиму, ты, Тимка, знаю, и раньше жил неплохо, на Котельниках, а остальные? В пятиэтажках вонючих вы жили, вот где, в хрущобах,

в бараках с дровяным отоплением и кривым сортиром через двор,

в перестроенных ночлежках без телефона, какой там телефон,

в совхозных общагах, в общагах заводских,

в молодежных домах гостиничного типа с одной кухней на этаж,

в зассанных подъездах с засранными лифтами,

в скудности и уродстве,

в убожестве и смраде,

в мерзости и гнили

была ваша жизнь.

Я, Ваня Добролюбов из Йошкар-Олы, построил вам дома. Я построил эксклюзивные резиденции с пентхаусами и, блин, инфраструктурой, блин, с видео, блин, наблюдением и

фитнесом, блин, блин, блин, с паркингом на хренову тучу машино-мест, но вам все равно мало, с укрепленными под ваши джакузи и трехтонные ванны перекрытиями, с венецианской штукатуркой и каррарским, ё, мрамором в холле-вестибюле, с колоннами, ё, внутри, ё, квартир, ё, по индивидуальным, ёханный бабай, проектам, эксклюзив-люкс, грёбанный мамай, для обеспеченных господ, блядь!

И не думайте, что я только это построил.

Может, вам нравится жить на земле, а не в воздухе, и вы предпочитаете коттеджный поселок клубного класса в лесу, все коммуникации центральные, быстрый Интернет, магазин-ресторан-школа? Так знайте, что все это тоже построил я.

И таунхаусы я построил.

И усадьбу дворцового типа, берег реки, ландшафтные работы, один и пять гектара, – я!

Я, Добролюбов И.Э., 1969 г. р., мужской, русский, незаконченное высшее, я дал вам главное, что отличает вас от ваших родителей, от их родителей и от предков, глотавших дым и давивших тараканов в черных избах под соломой, что отличает вас от современников, которым не повезло, от оставшихся в советских бесплатных квартирах с кривыми стенами и потолочными синяками протечек, от бомжей, в конце концов, – я дал вам достойное человека жилье! Вы говорите, машины? А я говорю – фуфло ваши немецкие, английские, японские, шведские и все остальные железяки! Первые пятьдесят штук украл, купил без пробега по России, а тут столб, и привет со списанием... Дом в ДТП не расплющишь. Элитное жилье – вот светлое будущее, которое столько лет строили все, а построил я. Элитное, слышите, уроды? Это я сделал вас элитой, я, а не Ельцин. Конкретно я.

Но все это – говно.

Потому что думать нужно о душе, брателло. Можете мне верить, я отвечаю за базар, и если я говорю о душе, то я готов мазать с любым, что без души всё – говно, как я уже сказал выше.

Короче. Я подумал о душе. И я понял, что нужно душе, господа. Небо, вот что.

Дом, обычный дом, как бы ни был он хорош, это только пещера, для уменьшения объема земляных работ не вырытая в земле, а построенная на земле. И как бы ни был высок обычный дом – двадцать, сорок, сто сорок этажей, – это только нарост на земле, искусственная гора с искусственными пещерами, и мы, те, кто живет в таком доме, всего лишь дикари, трусливо вцепившиеся в землю, навеки поселившиеся на земле.

А жить надо в небе. Там хорошо душе, светло и пусто. Она понемногу привыкает к своему будущему ПМЖ, ночью она вылетает в окно и бултыхается в восходящих и нисходящих потоках на уровне привычного этажа. Обычные же человеческие души, покидая, как положено, на ночь тела, вынуждены пользоваться дымоходами или вентиляционными шахтами, что неприятно. Жить надо в небе, там наш дом. И не надо ждать, пока тебя пригласят туда, пока врачи передадут приглашение, а священники помогут собраться, надо переселяться по собственной инициативе и с моей помощью.

Внимание!

Открытое акционерное общество «Бабилон» строит в Москве самый высокий в мире дом. Этот дом соединит землю и небо. Ограниченное количество квартир. Гибкая система скидок. Достань до небес!

Иван Эдуардович умолк и огляделся. В клубе было на удивление спокойно, многие столики опустели, из знакомых не осталось почти никого. А те, кто остались, никакого внимания на Добролюбова не обращали, будто и не он только что произносил гордые и страшные слова. «Может, – подумал враз оробевший богоборец, – и действительно не говорил, то есть только мысленно?..»

Впрочем, Тимофей Болконский, кажется, все слышал. Он сидел в своем углу, задумчиво жевал сигару, качал серьгами, гладил бородку, внимательно смотрел на Ивана...

– Ну, Ваня, – наконец сказал молодой Болконский, – пиарщик ты, надо признать, супер. Только вот не смущает ли тебя...

– Что еще, – суетливо перебил Добролюбов, уже понимая, о чем идет речь, но не желая понимать, – что еще меня должно смущать? Там скальное основание, есть результаты глубокой георазведки, есть заключение академии, есть...

– Да какая, к херам, академия, – усмехнулся начитанный юноша. – Ты же ведь знаешь про результат первой попытки? Наверняка знаешь...

Добролюбов хотел послать Болконского в жопу, но не успел, потому что между ними вдруг оказался какой-то неизвестный молодой мужчина в черном кожаном пиджаке поверх черной же майки. Толстым зеленовато-бледным лицом и круглой, наголо стриженной головой незнакомец напоминал гусеницу.

– Слушай, брат, – обратилась гусеница к Добролюбову, – твоя же фирма «Бабилон» называется, так? Давно хочу у тебя спросить, в каком смысле Бабилон, а? В смысле бабла, правильно? В смысле там же метр стоит немерено, да? В том смысле, что несите, значит, бабло, ну? В смысле того, что куда бабло несут, там и Бабилон, нет?

И опять не успел ничего ответить Добролюбов, а Болконский вмешался из-за спины любопытного мужчины.

– Если бы от бабла, – сказал наследник богатых культурных традиций, – то получилось бы «баблон», а Бабилон – это в честь песни. Знаешь, братан, есть такая песня: «О, Бабилон! Ие! Там-там-туда-туда... О, Бабилон... Ие...»

– Ну, – сильно обрадовался гусеничный человек, – конечно! Я только не въехал с ходу. Кто ж не знает! Битлы! О, бабилон, йе! Ну, пацан, ты все просек, да? О, бабилон...

Тут едва не бросился Иван Добролюбов на дурака, но не бросился.

Потому что исчез дурак, и Болконский исчез, и клуб Володички Трофимера исчез вместе со всеми гостями, многие из которых ушли, как было сказано, еще до этого.

И вообще абсолютно все исчезло.

А немного позже закончилась и эта история, относительно которой с самого начала было ясно, чем она закончится.

Башню строили, строили и достроили наконец почти до неба, так что облака, а особенно низкие дождевые и снеговые тучи поползли по ее темным стенам, разрываемые этими стенами в клочья. Небо почернело, вдали загорелись на нем багровые огни – не то атмосферные электрические разряды, не то рекламные неоновые буквы слова «Бабилон», не то цифры проклятого телефонного номера. По этому номеру позвонишь, а там вой какой-то, вопли страшные, пламя гудит... Маленькие люди еще тянулись по галерее, спеша завершить свои строительные дела, глядя кто в небо, кто на землю, но уже не слышен был между ними русский понятный разговор, опасались они, видимо, употреблять ласковое слово «мать» и другие слова на такой высоте, стыдились, и стали говорить на своих языках, и не могли более понимать друг друга. Таджики, которым уж больше нечего было копать, а потому используемые на подсобных погрузочно-разгрузочных работах, не понимали пришепетывающих молдаван, украинцам казалось, что армяне не говорят, а кашляют, поднанятые в помощь иностранцам рязанские только охали да переспрашивали – на том все и остановилось.

Законсервировали, в общем, стройку. Акции ОАО перешли за долги городу, что потом с ними стало, неизвестно. Недострой хотели вроде разбирать, но на это денег не нашлось, а пока искали и отбивались от общественности, возмущенной изуродованным городским пейзажем, проблема решилась сама собою.

Стены стали оседать, оплывать...

Пошли в рост на камнях тонкие деревца, поселились в руинах большие, не виданные прежде птицы...

Потекли, шурша, песочные струйки...

Дунул ветер, и улетел песок...

Сгинул «Вавилон», туда ему и дорога.

Добролюбова жалко, это правда. Была у него мечта, высота-высота, как у летчика из песни, но не сбылась. С другой же стороны – гордыня должна быть наказана и наказывается всегда. Да не так уж он и пострадал, говорят. Небольшой бизнес у него вроде бы остался на Кипре, ремонт и обслуживание высотных зданий. Ну, лишь бы не заносился.

Нам-то хуже.

Смешались языки, и не понимают люди друг друга. Ходим мы по дорогам, а вокруг – все чужие. Неба не достигли, землю же утратили. В вышине над стенами тьма, во тьме над стенами огни, осыпаются стены прахом, и нет уж города, а ведь был.

Ходок

Году примерно в шестьдесят девятом... или восьмом... нет, все-таки в девятом, после Чехословакии... да, точно, как раз застой стал силу набирать, в кругах московских полудиссидентских – в мастерских подпольных художников, среди постоянных посетителей джазовых концертов в окраинных ДК и просто по кухням, где любили посидеть с гитарой под безобидного Визбора, – прошел слух о происшествии отчасти комическом, отчасти же трагическом и даже с политической окраской. Героем события называли некоего Иванова, человека в этих компаниях известного.

Кем был Иванов по профессии, толком никто не знал. Одни считали, что он работает старшим научным сотрудником, причем с докторской степенью, в каком-то закрытом НИИ, и даже знали, где этот НИИ располагается: возле метро «Лермонтовская», в мрачном бывшем дворце царского министра путей сообщения, стоявшем за трехметровым забором со львами и грифонами. Другие были уверены, что Иванов – геолог, полгода проводит в экспедициях, а потом тратит сумасшедшие геологоразведочные деньги. Третьи утверждали, что он врач какой-то безответственной, но денежной специальности, не то уролог, не то косметолог, что было равно дефицитно, предполагало большую подпольную частную практику и соответствующие заработки, не говоря уж о связях.

В пользу первой и третьей версий говорило его дружеское прозвище Док Ходок, то есть «док» в смысле «доктор», а про ходока позже. В пользу второй была красивая борода, в которой он появлялся время от времени, а потом сбрасывал, открывая полностью еще более приятное без нее дамам лицо.

Впрочем, профессия Иванова нам совершенно не важна, а важны именно дамы.

В их честь, как вы уж, верно, догадались, и назван был герой наш ходоком заслуженно.

Отношения его с женщинами тогдашнему – даже вольномыслящему – обществу представлялись вполне аморальными, теперь же, в наши, как говорится, отвязные времена, после полной и окончательной победы мировой сексуальной революции, могут и ретроградам показаться романтическими и даже наивными.

В грубых мужских компаниях тех лет особо энергичных любителей постельного занятия делили на две категории. Из сочувствия к нажитому с возрастом целомудрию пожилых читательниц (которым, подчеркнем, главным образом и адресованы все наши литературные труды) приведем здесь названия этих подразделений в щадящем написании: «гребарь» и «звездострадатель». Пояснять подробно разницу смыслов и смысл разницы, вероятно, нет смысла, все понятно даже вышеназванным суровым оценщикам текста. Скажем кратко: первая разновидность более посвящала себя механико-биологической стороне дела, вторая – эмоционально-психологической.

Сообразительным уже понятно, что Иванов, безусловно, относился к разряду именно страдателей. Индивидуальные же его особенности присвоили ему звание «ходок», в котором отразились неутомимость чувств в сочетании с их недолговечностью. Он влюблялся быстро и бешено, совершал дерзости и безумства. Например, на ночь глядя мог поехать без предварительной договоренности в Дегунино, тогда еще почти недостижимо окраинное, где в грязи однажды перевернулся троллейбус, прождать предмет желаний за помойными коробами напротив подъезда полтора часа, потом объясняться огненным шепотом еще минут двадцать, потом пробраться вслед за потерявшей всякую осторожность слабой женщиной в малогабаритную распашонку – а, забыли, что это такое, обитатели нового русского жилища! – и там, стянув на пол матрас, сотрясать любовью панельное строение, меж тем как за одной звукопроводной стеной чутко храпели родители, за другой тонко сопело дитя, сотрясать до самых четырех утра, поскольку муж должен был вернуться после ночной

работы на электронно-вычислительной машине М-20 около шести, в четыре же выскользнуть бесшумно, доодеться в лестничном ознобе

и к первому троллейбусу успеть
на остановку – в тоненьких ботинках,
в плаще китайском стильном, но не новом,
внимание народа привлекая
нездешней бледностью...

Однажды мужа встретил.

Тот равнодушно взглядом оценил

какого-то залетного стилигу

и поспешил, усталый, отсыпаться.

А через месяц Иванов уже и представить себе не мог какого-то Дегунина, какую-то робкую жену инженера, хотя иногда пытался с доброй усмешкой вспомнить рискованную поездку и сохранял в целом теплое чувство к Нине... нет, к Тане... скорей, все же к Лене. Но уже новая любовь занимала все его время и силы, он неудержимо рвался в Шмитовский проезд, где в темной глубине коммуналки его ждало счастье, и там под утро он лежал без сна от переутомления, думая: «А вот возьму и женюсь, и все!» Это счастье длилось иногда целый квартал, Иванов даже переезжал в Шмитовский, здоровался любезно с соседями на коммунальной кухне и, выдадим секрет, в это время почти семейной жизни как раз и отращивал бороду, знак успокоения, однако...

В общем, не будем продолжать, все ясно. Тип этот давно описан так, как мы и не замечаемся, только робко обозначаем – периодически размещая текст столбиком – наше знакомство с источниками.

Вернемся лучше к событию, о котором было начали рассказ, но, как обычно, отвлеклись.

Очередная любовь Иванова имела жилищные условия исключительные: в высотном доме на площади Восстания. Стоит ли описывать прекрасную квартиру с тяжелой казенной мебелью, голубыми коврами и приемником «Фестиваль»? Не стоит, те, кто бывал в таких квартирах, и сами все знают, а кто уже не застал выделяемого ответственным работникам солидного комфорта, все равно представить не смогут. Скажем только, что квартира в высотке принадлежала товарищу Балконскому, руководителю многих творческих организаций, автору знаменитых пьес, поэм и всенародных песен, Герою Социалистического Труда, лауреату всех степеней и, как болтали безответственные и дурно настроенные люди, генералу КГБ. Ведь у нас тогда как считалось – если живет благоустроенно, карьеру, особенно художественную, делает не по способностям, а получает по потребностям и даже с избытком, так сразу и КГБ, и обязательно генерал. А что просто подлец и хитрован, это было бы слишком скучно.

Да. Ну женат Устин Тимофеевич Балконский был на молодой красавице из древней благородной семьи Свиных, случайно уцелевшей благодаря отрешенным музыкальным занятиям в ранге консерваторских профессоров и умению выдавать своих прелестных дочек за крупных партийно-государственных деятелей. Брак этот был с его стороны четвертый (по некоторым биографиям – шестой) и очень счастливый. Жена Анечка его обожала, любила гладить по обнаженной, сплошь покрытой пигментными свидетельствами жизненного опыта макушке и понемногу, сидя днем одна, уже писала красивым школьным почерком воспоминания о последних годах жизни великого человека. Дача большая была переведена на нее, старшие дети получали дачи среднюю и малую, «Волгу» она вообще сама водила, а по части сберкнижек все недвусмысленно регулировалось завещанием: ей на предъявителя, сыновьям именные – словом, все счастливые семьи, как известно, так живут, а несчастные – как попало.

Как вдруг черт нанес на Анечку Балконскую этого Иванова! В Центральном доме литераторов (имени Фадеева, если кто забыл), стоявшем буквально через площадь от фамильного гнезда, на закрытом просмотре в рамках Недели французского фильма встретила она проникшего не совсем легально симпатичного знатока Годара – и погибла. Разговорились, сидя по соседству в большом плюшевом зале, выпили знаменитого кофе в не менее знаменитом буфете, расписанном по стенам соответственно знаменитыми посетителями, и даже рюмку коньяку против обыкновения она выпила да и, ни мало ни много, привела в этот же вечер мужчину к себе. Совсем с ума сошла – мимо вахтерши с фотографической памятью, мимо грозных соседских дверей, мимо всей нашей советской морали, точнее, прямо топча эту мораль сапогами-чулками, которые неделю назад привез ей из Италии, с конгресса драматургов, сам Устин Тимофеевич, а через два дня снова командировался на съезд европейских переводчиков его творчества в небольшой город Хельсинки, так что теперь отсутствовал...

И прислуга уже на ночь ушла.

А, да что говорить! Все и так понятно. В жарком и быстро сохнувшем чистом поту страсти, то засыпая мгновенно на несколько тихих минут, то пробуждаясь одновременно, так что открывшиеся глаза оказывались близко-близко к противоположным открывшимся глазам... Ты давно не спишь, минуту только, и что же ты делала эту минуту, на тебя смотрела, да, на тебя, ты что, снова, о, только не придави меня совсем, непри-дав-лю, не-при-дав-лю, не-при-дав-лю... В поясничной ломоте, во внезапном голоде до головокружения, в бесконечности продолжений прошли двое с половиною суток.

По истечении же этого времени последовало прощание как бы ненадолго – надо признать, какое-то скомканное и скороговоркой прощание, будто они спешили разлучиться, чтобы уж не отвлекаясь заняться воспоминаниями о минувшем безумии, потому что и ему, и даже ей уже хотелось именно воспоминаний, а не самого безумия, – и Иванов побежал к метро.

То, что произошло в наступившую затем неделю, никакого материалистического объяснения не имеет, хотя на самом деле имеет, конечно. Все причинно-следственные связи за семь дней перепутались и затянулись петлистыми узлами, как затягивается слишком длинная нитка в неловких руках избалованного домашним уходом салаги, пришивающего в мерзлой казарме свой первый подворотничок. Но не порвались...

К еле очнувшейся Ане на исходе второго дня томительных воспоминаний вернулся муж. Шофер внес чемоданы, старичок потянулся вверх, чтобы поцеловать соскучившуюся девочку еще до выкладывания галантерейных, парфюмерных и носильных подарков, да так и застыл, глядя в милые глаза.

Уж каким образом он там разглядел то, что разглядел, неизвестно, хотя удивляться нечему – и не в такие глаза он смотрел, было время, своими почти невидимыми в черепаших складках черных нижних и желтых верхних век глазами. И многое умел рассмотреть: и свою уже почти неизбежную гибель, и еле видимую возможность спасения, и даже имя того, кем вот сейчас, сию же минуту надо откупиться от собственной смерти, назвать это имя, после чего погаснут огненно-желтые глаза и тихий голос ласково скажет: «Падлец ты, Устин, но умный падлец...»

Словом, все понял Устин Балконский. Но движение свое закончил, жену, дотянувшись, поцеловал, открыл, кряхтя, чемоданы и презентовал всю мишуру капитализма той, ради которой постыдно бегал по финским лавкам. А спустя некоторое время ушел в кабинет и занялся там важными делами – то есть час с лишним звонил по разным телефонным номерам, обращаясь к очередному собеседнику то по-партийному, с именем-отчеством, но на «ты», то вовсе никак не обращаясь, а один раз даже полным званием.

Результат этой мстительной деятельности последовал назавтра же.

В отвратительной однокомнатной квартире, которую – откроем еще один секрет – наш Иванов снимал, лишившись своего жилья в результате последовательности женитьбо-разводов, загремел среди дня, когда все серьезные люди находятся на предприятиях и в организациях, дверной звонок. Иванов, не имевший постоянной работы и, будем уж до конца откровенны, кормившийся мелкой спекуляцией, известной в народе под названием «фарцовка», а потому находившийся днем дома и в трусах, сдуру пошел открывать. И ведь не ждал никого, чего ж понесло беспечного глупца к двери с бессмысленным вопросом «кто там»? С лестничной площадки твердо ответили, что участковый на предмет проверки паспортного режима. Поскольку московская прописка в квартире предпоследней жены сохранилась, Иванов спокойно открыл властям, которым наверняка настучали вредные соседи.

Тут же в квартиру вошел настоящий участковый и еще двое мужчин, в которых даже ребенок-дошкольник, родившийся и доросший лет до пяти на родине социализма, немедленно распознал бы известно кого. Участковый остался в прихожей, скучно глядя на свои измазанные почвой участка ботинки, а двое прошли в комнату следом за отступавшим спиной вперед Ивановым. В комнате растерянный хозяин попросил их садиться, на что один из гостей ответил шуткой: «Мы постоим, а кто сядет, это суд решит». После чего он же – второй только молча смотрел в лоб Иванова, примерно на три сантиметра над переносицей – быстро и понятно изложил суть дела. Суть была такая: паразитический образ жизни, спекуляция товарами широкого потребления, перепродажа чеков, имеющих хождение в сети специальных магазинов «Березка», постоянное общение с отщепенцами советской культуры, так называемыми художниками и музыкантами, два установленных эпизода контактов с гражданами капстран и, наконец, систематическое и циничное нарушение норм советской морали. Все это вместе тянет не то что за сто первый километр, но и на химию, а учитывая некоторые особые обстоятельства – и на настоящие лесозаготовительные работы общего режима года на три, о чем народный суд Бабушкинского района столицы и вынесет, несомненно, быстрое решение.

И ведь как в воду глядел! Именно три, именно общего, с отбыванием в исправительном учреждении п/я 1234, то есть в недалеком от города Йошкар-Ола небольшом лагере, куда, сообщим, забегая вперед на месячишко, и отправился осужденный, вернее, осужденный, с удариением на букву «у».

Иванов сидел, чувствуя зябкую беспомощность, которую всегда чувствует человек в трусах среди мужчин в толстых демисезонных пальто. Стыла тишина, нарушаемая только доносившимися с улицы редкими дневными звуками пустого микрорайона. И в этой тишине вступил наконец со своей главной партией второй визитер.

– Будешь, земля, смотреть, – сказал он и мягко, совершенно по-дружески улыбнулся Иванову, – кого пялишь. Понял, Док Ходок?

Понять-то было нетрудно все с самого начала, одно только изумляло нашего героя и тогда, и долгие годы потом, и нас по сей день изумляет: как же был разоблачен оскорбитель семейной чести товарища Балконского, да еще разоблачен так быстро, и обнаружен черт его знает где, в Бабушкине, в котором и прописан не был? И ведь даже прозвище нарыли! Одних показаний памятной вахтерши тут не хватило бы... Да, работали товарищи, хорошо работали, грамотно, ничего не скажешь, берегли вверенный им общественный строй. И даже странно, что в конце концов не уберегли, а потому приходит мысль – да полно, точно ли хотели уберечь-то? Или сами?..

Ну, не нашего ума дело. Нам, в смысле – автору, вообще не следует заноситься и много брать на себя, предлагая свои ответы на все вопросы. Нам дай бог только историю до конца досказать в том ее натуральном виде, в котором вручает всю свою историю народ нашей бумажной братии. Лишь некоторые слова можно заменить еще более лучшими, в смысле вычеркнуть, например, здесь «еще более», а сверх того – ни-ни!

Итак, поехал Иванов сводить мордовский лес...

То есть Йошкар-Ола – это Мордовская АССР или Коми-Пермяцкая? Или Коми – это Коми-Пермяцкий автономный округ, а не АССР? И где тогда Сыктывкар, черт возьми?!

То-то и оно. Вы даже толком не знаете, где это все находится, а человека туда привезли в вагонзаке и поставили на общие работы. Мороз тридцать восемь, бензопила «Дружба» визжит от усталости, чирьи смыкаются на спине, распространяясь от шеи и задницы, гастрит ежесекундно переходит в язву, и голодные боли режут живот поперек... Беда.

Однако живуч человек! Даже чирьи проходят, оставляя лишь синие плотные пятна, а те понемногу рассасываются под животворными лучами весеннего солнца, стоящего прямо над крышей барака. В его гнилых, но чисто побеленных стенах собрано все лучшее, что дал развитой до предела социализм своим неуклонно встающим на путь исправления гражданам: медпункт, библиотека и красный уголок, а на горячем рубероиде крыши принимает оздоровительно-косметические процедуры з/к Иванов. Надо же – и полугода не прошло, а так он зарекомендовал себя в глазах администрации, что не просто в придурки пролез, но стал даже тройным придурком, вот ведь как бывает. В медпункте он работает медсестрой, мажет всех нуждающихся поверх чирьев зеленкой, а заслуживших – даже ихтиоловой мазью, распространяющей прекрасный запах деликатеса, дает проглотить в своем присутствии таблетку-другую аспирина от температуры, цитрамона от головы и бесалолу от желудка. Спирта у него в медпункте, конечно, нет, а уж настойки пустырника или боярышника – тем более, не ресторан, но слухи ходят, что есть... В библиотеке выдает книги: уважаемым людям и своим корешам разрозненные голубые тома Жюль Верна, прочим же – «Семью Журбиных» писателя Кочетова, «Стихи о Родине» в переводе с лезгинского, молдавского, уйгурского и других братских языков, а также книгу неизвестного автора из жизни заграничных крестьян не то XIX, не то даже XVIII века без первых восьми и неведомого количества последних страниц. Выдавая эту книгу, он записывает так: «Неизвестный автор. О древних французских колхозниках. Выдано з/к Толстагуеву», – развлекает сам себя... А в красном уголке он ничего не делает, только метет пол и протирает иногда лавки, поскольку используется этот уголок исключительно два раза в год, перед Первым мая и Седьмым ноября, но в эти периоды там всем командует лично майор Добролюбов Эдуард Вилорович: сам читает собственноручно написанный по материалам центральной «Правды» доклад о достижениях народного хозяйства СССР и борьбе трудящихся всего мира против империализма, неоколониализма, ревизионизма и догматизма, сам же руководит и художественной самодеятельностью в лице уже нечаянно упомянутого Толстагуева (тяжкие телесные, баян), а также Николаева (преступная халатность, песни советских композиторов под баян Толстагуева), Миколайчука (хищения кооперативно-колхозной собственности, народная украинская песня «Ой, по-пид горою» а capella), Николаевича (соучастие в форме доносительства, танец-чететка под тот же баян) и Мильштейна (он же Троицкий, частнопредпринимательская деятельность, рецидив, стихи поэтов Есенина и Рождественского)...

Опять мы отвлеклись. Вечно так – начнешь рассказывать занимательнейшую историю, ну, казалось бы, и гони скорее сюжет к концу, к развязке, к раскрытию мучающих читателя тайн, к поучительным выводам, но нет, никак не получается. Лезут и лезут откуда-то мелкие побочные детали, подробности всепоглощающего быта, лица какие-то посторонние всовываются, кривляясь, в повествование... И совершенно справедливо указывают впоследствии некоторые критики на излишнюю описательность, затемняющую и идею произведения, и характеры героев.

Словом, вернемся к вопросу, как же оказался Иванов в такой завидной позиции, всего за неполных полгода поднявшись с общих работ до горячей рубероидной крыши.

Как-как... Очень просто, могли бы и сами догадаться да поискать женщину, не дожидаясь пошлой подсказки. Тем более что не просто об Иванове идет речь, и прозвище Док Ходок он получил не зря.

Вольные, тем более члены семей военнослужащих, передвигались в то время по исправительно-трудовым учреждениям практически совершенно свободно, по мере желания и необходимости – время-то уже повернулось на беспорядок, на нарушение всех инструкций, на ту, не побоимся сказать, вседозволенность, которая в конце концов и сгубила страну.

И вот шла Лаура Добролюбова короткой лесной дорогой в продуктовый магазин на станцию и вышла на ту делянку рабочей зоны, где корячился неумелым и отстающим обрубщиком Иванов.

И вот задубевший на морозе конвой супругу товарища майора, молодую и потому красивую женщину, поприветствовал радостным со скуки отданием чести и предложил отдохнуть возле маленького костерка, в который – быстро пошел, чмо, быстро принес! сейчас, Лаура Ивановна, вообще Ташкент будет! – высокий заключенный с красивыми и необыкновенно даже для его положения грустными глазами тут же подбросил мелких веток.

И вот, подбрасывая в огонь эти липкие от смолы ветки, поглядел он прямо в ее довольно прекрасное лицо, немедленно выразившее сильнейшую любовь и готовность отдаться этой любви.

И вот участь их была решена на небесах в тот же миг.

Но Иванов на провидение не стал безраздельно полагаться, а, собрав всю свою быстроту ума, которая и прежде его не раз выручала, успел шепнуть комендантше свою простую фамилию и номер бригады. А уж как он догадался, что это комендантша, неизвестно. Он и сам потом понять не мог.

Как бы то ни было, но судьба его заскрипела всеми своими кривыми колесами, дернулась и, выбравшись из глубокой колеи, покатила совсем в другую сторону.

Лаура к мужу не совалась, разумеется, ни с какими просьбами, только обратила его внимание на то, что и медпункт уже давно, после того как сактировали латыша-фельдшера, закрыт, и библиотека пылью заросла с тех пор, как откинулся прежний библиотекарь, и в красном уголке ей пришлось самой порядок наводить перед последними ноябрьскими, только солдатики помогали, а от них какая же помощь, грязищу размазали по полу сапогами, да и все. Майор Добролюбов задумался, поскольку всегда прислушивался к женскому мнению супруги, закончившей педагогическое училище и по бездетности много читавшей газеты и журналы. А пока он думал, само собой как-то оказалось, что назначить на все три культурные должности некого, кроме как Иванова из пятой бригады, с высшим образованием и москвича.

Как такие решения внедряются в умы даже и вполне неглупых во всех других отношениях мужей, это нам неизвестно. Есть, например, такое объяснение: пока глава семьи спит на спине, сильно втягивая воздух через нос, отчего раздается громкий звук «хр-р», а потом выпуская его между отдувающимися губами с тихим звуком «пф-ф», пока колеблются под ночными движениями воздуха порыжевшие от пота волосы в его открывшихся при закидывании рук за голову подмышках, пока отдыхают его партийный самоконтроль и воля офицера – женщина, положившая голову на сгиб его локтя, беззвучно шепчет: «Иванов из пятой, Иванов из пятой, Иванов...» А наутро, бреясь купленным в санаторном ялтинском военторге лезвием «Матадор» импортного синего с отливом цвета и ополаскивая слегка пошедший ржавчиной станок от серой пены в стальном стаканчике с мыльной водой, муж почему-то думает: «Поставлю-ка я на это дело Иванова из пятой бригады, вот кого!» Правдоподобно ли такое объяснение? Правдоподобно. Ночная кукушка, ну и так далее. Все они, в общем, ведьмы, и никакой материализм этого не опровергнет.

Так что греется теперь Иванов на крыше под солнышком, а то пойдет подремлет на клеенчатом топчане в медпункте или посидит с книжечкой в библиотеке... Книжку эту он никому не выдает, это книжка великого нашего Пушкина, и выдавать ее жалко, пусть лучше читают стихи о Родине, это и с воспитательной точки зрения полезней.

А раз в месяц майор Добролюбов уезжает на пару дней в управление, и тогда Лаура приходит к Иванову за своим счастьем.

Сплошной свет неба сияет за плотной занавеской-задержушкой медпунктового окна и проникает сквозь занавеску, и в этом неподходящем свете совершается любовь Лауры.

Прерывистый свет звезд мерцает за глухой стеною красного уголка, а во мгле большого помещения совершается любовь.

Дымный свет луны пробивает глухие тучи, любовь же совершается в пыльной тесноте библиотечного закутка.

Так и шло.

Так бы себе и дальше шло, но однажды кончилось.

В тот вечер Лаура Ивановна сообщила мужу майору Добролюбову, что у них наконец будет ребенок, которого они давно хотели, да все как-то не получалось. И у нее было не все в порядке по женским, только за последние недели прошло, как рукой сняло, и у него, признаться, не всегда были силы, уставал очень на службе, ляжет с женою, примется вроде с большим желанием и даже энтузиазмом исполнять что положено, но вдруг сморит его сном, рухнет он на Лауру Ивановну и заснет, а ей приходится выползать, а в майоре Добролюбове весу, между прочим, восемьдесят девять килограммов показала диспансеризация...

К Иванову она больше никогда не приходила.

Он немного поскучал по Лауре, но недолго.

Она же через отведенное природой время родила в ближайшем городе Йошкар-Оле мальчика Ивана. Майор Добролюбов вышел на гражданку, получил в том же городе Йошкар-Оле квартиру и стал жить там с семьей. Там мы их всех – по крайней мере пока – и теряем из виду, так как в дальнейшей судьбе Иванова ни сын его Иван, ни возлюбленная Лаура, ни сам гражданин майор никакого участия не приняли.

Он же, проявив себя решительно вставшим на путь исправления, вышел условно-досрочно через полтора года и, не имея, конечно, никаких оснований для проживания в городе Москве, а, напротив, разрешение жить к ней не ближе ста километров, приехал тайно в столицу. Здесь неугомонная его натура искала удовлетворения, только здесь мерещилась ему настоящая жизнь. И на что надеялся без прописки и с судимостью – непонятно.

В начале семидесятых холодные зимы бывали в Москве. Вслед за тридцать седьмым троллейбусом из темной щели Арбата вылетало, гонимое злобным ветром, снежное полотнище, облепляло лицо. Уши ломило невыносимо, хуже, чем бывало на утренних разводах. Одет Иванов был прилично, в еще даже не вышедшее полностью из моды ворсистое пальтишко чехословацкой марки «Отаван» и отличную кепку, сшитую некогда мосфильмовским мастером, но не по погоде легко.

Толкнув туго подавшауюся дверь, он зашел с угла в Смоленский гастроном и сразу направился в хорошо знакомый отсек кафетерия. Там, отстояв никогда не иссякавшую очередь, взял огненный, но быстро остывающий кофе с молоком, два тонких бутерброда из свежайшего хлеба со слезящейся любительской и пристроился за дальним высоким столиком.

В кафетерии пахло сырым паром от верхних одежд. Пронизывая этот пар, яркий магазинный свет дрожал, отчего казалось, что смотришь сквозь слезы. Никто на Иванова не обращал внимания, хотя наметанный взгляд легко распознал бы в нем побывавшего там, где полстраны побывало, – чего стоила только привычка вытирать опущенные уголки рта кончиками большого и указательного пальцев... Он проглотил последний двухслойный кусок и задумался, вернее, застыл без всяких мыслей над последним глотком бежевой жидкости.

Смотрел он при этом на ближний подоконник, скрытый под пластиковой обшивкой. На обшивке кто-то оставил часть газеты...

Проведя в таком бессмысленном состоянии примерно минуту, Иванов наконец понял, что привлекло его взгляд, до этого пустой, а теперь зажегшийся отчетливым интересом.

Газета лежала вверх низом первой страницы, где обычно публикуют некролог, если умирает очень важный человек. Ну то есть не из самых-самых важных, портреты этих и соответствующие слова помещают вверху верха той же страницы, но из очень важных и всенародно уважаемых.

И на этот раз некролог там был.

Центральный Комитет, Советское Правительство и множество других первостепенных организаций с глубоким прискорбием сообщали о безвременной кончине в возрасте восьми-десяти двух лет того, чья фотография помещалась над текстом. С фотографии сквозь узкие щели в черепаших морщинистых веках смотрели знакомые глаза, проницательные глаза выдающегося деятеля советской культуры, верного сына партии, героя и лауреата, председателя и секретаря, прошедшего большой путь, чьи произведения пользуются заслуженной любовью, неутомимого борца за мир и прогресс, чей вклад трудно переоценить, – товарища Балконского Устина Тимофеевича.

Умер товарищ Балконский две недели назад.

Иванов взял газету с подоконника, разгладил и долго глядел в лицо покойного. О чем он думал при этом, мы можем только догадываться, во всяком случае, никакого почтения – хотя бы к смерти, если не к достижениям умершего – не проявил. Легкая ироническая улыбка играла на жестком лице зэка, и даже показалось нам, что произнес он нечто насмешливое, но что именно, не разобрали в банном шуме, который всегда стоит в кафетериях...

Ледяной ветер летел по Смоленке, пересекался с вьюгой, задувающей с бескрайних тротуаров нового проспекта Калинина, разгонялся по улице Чайковского, минуя, от греха подальше, американское посольство, и вылетал на Восстания. Вместе с ветром летел, почти отрываясь от земли, и человек, полы пальто ветром прижимало к продрогшему заду, отчего путник становился еще больше похож на бездомную, поджавшую хвост собаку, он закрывал уже почти обмороженные уши почти обмороженными руками и так влетел в теплый, скучный, тусклый в свете дежурной лампочки подъезд высотки.

Почему вахтерша впустила Иванова, неизвестно. Отчасти могут что-то объяснить слова, которые она пробормотала, увидав вошедшего: «А, вы... Ну проходите, молодой человек, звонили об вас...» – но, с другой стороны, что они объясняют? Ровным счетом ничего, и даже запутывают нас еще больше.

Ползет вверх лифт, фанеровка красного дерева облуплена, латунные поручни позеленели, и до того прекрасен вид этого умирающего богатства, что даже и сейчас, когда вспоминаешь, сердце щемит, а Иванову хоть бы что, не до этого ему было.

Вот, наконец, и дверь. «Аня, – он шагнул в прихожую, стащил кепку, улыбнулся самой грустной из своих улыбок, действовавшей, как он знал, наверняка, – Аня, это я...» Так обычно говорили в советском кино, и он давно понял, что лучше все равно не придумаешь.

...Ах, как прекрасно можно было бы описать все, что последовало за этой удивительно пошлой сценой! Слезы, упреки, ласки, недоговоренности, снова ласки, жар страсти на шершавом гобелене кушетки прямо в прихожей, жар страсти на скользком шелке павловского дивана в гостиной, жар страсти на пыльном сукне письменного стола в кабинете... Прежде мы обязательно предались бы таким описаниям, изобразили бы и пот любви, и все ее судороги, и слова воспроизвели бы стенографически – да, собственно, еще недавно вот тут же предавались! Да, предавались... А теперь вот не станем. Все, возраст не тот, пусть молодежь практикуется, а мы свое отдали этому влажному поприщу – и хватит...

Они, собственно, и рассказать-то друг другу ничего не успели. Теперь, голые и мокрые, как новорожденные, они сидели в прилипающих кожаных креслах и молчали. Свет настольной лампы с медальонами падал на пустое зеленое сукно оскверненного стола, на письменный прибор из бронзы и малахита, на кремовый телефон. Если бы в кабинет вошел кто-нибудь третий, он мог бы заметить в этом свете, что взгляд и у нее, и у него отчужденный, нет в их глазах ни любви, ни даже похоти, а одна лишь безразличная усталость.

Но третий, хотя и присутствовал в квартире, войти не мог. Третьим был Тимофей Устинович Балконский, без малого двух лет от роду, тихо спавший в кроватке с сетками по бокам. Кроватка стояла рядом с большой кроватью в спальне родителей, из которых один, а именно покойник Устин Тимофеевич, никаким родителем Тиме, конечно, не был. К этому месту нашего рассказа уже и вы, должно быть, догадались, что у Иванова было два сына, вот Тима как раз второй и есть (хотя по возрасту старший на полгода, чем первый упомянутый, Иван). О-хо-хо-хо-хо, вот ведь как поворачивается жизнь! Ей-богу, как в самом последнем сериале, даже не бразильском, а чисто мексиканском... Ну а с другой стороны, что поделаешь? Дети, они и есть дети, куда деваться.

А Тиму этого вы наверняка знаете, его часто по телевизору показывают. Он потом поменял квартиру по просьбе матери – в высотку на Котельниках переехали – и одну букву в наследственной фамилии, теперь он Болконский, а как же. Тем более что по матери Свинын, кругом, получается, знать. Опора державы, она всегда при деле. Тимофей Болконский, неужели не слышали? Кинорежиссер, и программу ведет телевизионную, не помню точно, как называется, и во время выборов о нем чего-то писали... В последнее время, правда, не видно, говорят, уехал за границу куда-то. Вроде бы в Рейкьявике видели... Но вообще-то очень известный парень, с такой бородкой и стриженный наголо... А, вспомнили! Ну вот... А старшие дети, к слову, так и остались Балконскими через «а», их и не знает никто – один профессор какой-то химии, другой вообще историк.

Между прочим, Иван Добролюбов теперь тоже за границей живет. Не то на Кипре, не то в Израиле. Бизнес у него там какой-то, что ли... А раньше здесь быстро поднимался, но, был слух, конкуренты достали, ну и свалил...

А они пока там, в семьдесят первом году, так голые и сидят. И одеться бы уже надо, и не могут двинуться, стыдно как-то вставать, идти за одеждой...

Тут телефон и зазвонил. Во втором часу ночи, кстати.

– Не бери, – сказала Анна, увидав, как он протягивает руку к телефону, – кто может нам звонить так поздно ночью?

– И правда, кто? Не муж ли твой покойный решил со мной поговорить о нашей дальнейшей жизни здесь, в его квартире?

(Смеется.)

Он, видно, думает, что даже после смерти меня он сможет снова посадить?
Вот хрен ему!

(Берет трубку, слушает и падает замертво.)

Трубка дергалась и искрила в его уже коченеющей руке, тихо визжала, изгибаясь и кусая свое голое плечо, Аня Балконская, а на паркете уже и не было ничего, одна лишь горсть праха, которую утром вымели вон.

Сгребли кривым веником в пластмассовый розовый совок, вот и прощай, старик, до свидания.

Несчастный Иванов! Бедный ходок...

Сгинул вместе со своими смешными шестидесятыми-семидесятыми, с девками-бабами, любовью-кровью и всем этим нашим пенсионерским барахлом.

А нам что же осталось?

Пугаться сердечных перебоев, тратить последние силы, впадать в стихотворный, не нами придуманный ритм... Да вспоминать жизнь, бог весть для чего данную нам и уже прошедшую, почти прошедшую, ах, как быстро, как быстро, просто ужас.

Странник

Когда Кузнецову исполнилось десять лет, он узнал о себе самое главное.

В то время жил Кузнецов в небольшом городе Краснобельске, ходил в четвертый класс семилетки, был твердым хорошистом и посещал кроме обязательного хора фотокружок, поскольку родители ничего для него не жалели и подарили зеркальный аппарат «Любитель», а потом и увеличитель, и плоские пластмассовые корытца-кюветы с клювиками в углах для слива использованных реактивов, а также стали регулярно давать желтые рубли и синие пятерки на покупку проявителя, закрепителя, пленки, намотанной на аккуратные деревянные катушки вместе со слоем плотной грязновато-красной бумаги для светонепроницаемости, и прочих необходимых фотолюбителю предметов, включая фотобумагу «Унибром» девять на двенадцать. Иногда – почему-то большей частью весной – в краснобельский райпотребсоюз эта бумага приходила просроченной, тогда завмаг Антонина Павловна выбрасывала ее, предварительно списав по акту, в большой деревянный мусорный ларь, откуда ее вытаскивали мальчишки, знавшие для этого уже никчемного товара – фотографии печатать пробовали, но получались только светлые тени вместо людей – хорошее применение. Вскрыв плотные бурые конверты, Кузнецов и его товарищи вытаскивали быстро синеющую на свету бумагу и устраивались на самом ярком солнце. Каждый прикладывал к своему листу с загибающимися краями растопыренную пятерню и через некоторое время получал точнейший отпечаток, голубой на уже почти черном фоне. После этого бумажные ладони можно было вырезать принесенными кем-нибудь из дому неудобными большими ножницами и, накладывая одну на другую, сравнивать, у кого больше. На том занятие и кончалось, интереса к нему больше не было никакого, шли играть в ножички на быстро сохнувшей земле, а обрезки бумаги валялись по всему магазинному двору.

Вот Кузнецов и сидел за котельной, где обычно играли в ножички, когда его окликнул одноклассник Профосов.

Этот Профосов недавно приехал в Краснобельск из города Горького, где учился в каждом классе по два года, так что ему уже было почти четырнадцать лет, лицо его переливалось бордовыми буграми и сизыми вмятинами трудного возраста, он многое знал о жизни и охотно делился этими знаниями с младшими товарищами.

– Кузя, – обратился без всякого повода Профосов к Кузнецову, – а как твою мамашу звать? Правда Сара или врут?

С тех пор как Профосов появился в классе, он постоянно задавал всем какие-то такие вопросы, ответить на которые словами было невозможно, а обязательно приходилось с ним драться. Драка же с ним кончалась для любого четвероклассника лежанием на спине и рассматриванием снизу оказавшихся в неприятной близости прыщей, причем гадский Профосов не просто давил побежденного своим большим телом, но и обязательно делал что-нибудь дополнительно противное – например, зажимал костяшками пальцев нос побежденного, отчего потом из носу шла кровь, а то вдруг начинал быстро-быстро поднимать и опускать на лежащего нижнюю часть своего ужасного тела, приговаривая при этом какую-нибудь ругательную шутку, например такую: «Папе сделали ботинки на высоком каблуке, папа ходит по избе, бьет мамашу па... пе сделали ботинки...» – и так бесконечно, или такую: «Ехали казаки, ехали домой, увидели девушку с разорванной пи... ки наставили, хотели воевать, а потом раздумали и стали е... хали казаки...» И ничего сделать было нельзя, потому что он был тяжелый и давил сверху, гад.

Кузнецов точно не знал, надо ли драться с Профосовым из-за вопроса о матери, но чувствовал, что придется.

Город Краснобельск был недавно построен в степи, жили в нем люди, приехавшие из разных мест, и на странные имена здесь никто особенного внимания не обращал. Например, одного мальчика в их же классе звали вообще Вильгельм, Вилька, фамилия его была Штерн, но никого до приезда Профосова это не интересовало, ну Вилька, Вилка или Штера. А у Наташки, например, с которой Кузнецов сидел до третьего класса, фамилия была Толстагуева, ну и называлась она, конечно, Толстая, тем более что постепенно стала действительно самой толстой в классе. Но просвещенный горьковской жизнью Профосов тут же все изменил. Штеру он стал звать фрицем и даже фашистом, про Наташку орал на перемене «чурка толстохуева», и все ему сходило – Вилька дрался отчаянно, а в результате только передний зуб, который и так шатался, вылетел и влез ему в губу, Наташка просто плакала, жмуря и без того узкие глаза... А учителям или родителям никто не жаловался, как-то стеснялись, к тому же почему-то чувствовалось, что и взрослые ничего сделать не смогут.

Так что про мать никто раньше Кузнецова не спрашивал, но он, как уже было сказано, сразу понял, что драться придется, хотя не знал, что именно обидного в вопросе о материнском имени.

– Ну Сара, – ответил он, на всякий случай вытащил из земли свой ценный ножичек с ручкой в виде женской туфли и обтер лезвие рукой, чтобы, сложив, спрятать во внутренний карман полупальто.

– Сара Батьковна? – сидя на корточках и привалившись спиной к стене котельной, продолжал Профосов. – Или Сара Абрамовна? Или Сара Засраковна?

Кузнецов уже собрался засветить Профосову, пока тот не встал, но последовавшие слова отсрочили неизбежную развязку.

– Она врачиха, скажешь нет? – Профосов смотрел снизу, и все прыщи сияли под солнцем. – И ты врачом будешь, скажешь нет? Вы ж, жидочки, все идете во врачи или инженера, скажешь нет?

– Я моряком буду, – неожиданно для самого себя сказал Кузнецов. – Поступлю в нахимовцы, буду плавать на учебном паруснике «Товарищ», потом на линкоре...

Но не договорил.

– Не берут жидов на линкоры! – заорал вдруг Профосов, что было удивительно, кричать обычно начинала его очередная жертва, а он всегда говорил спокойно и дрался без крика, только приговаривая с пыхтением свои дурацкие ругательные шутки. – Жидов в одни врачи берут и в инженера, понял, абрамчик! Жидовские врачи Сталина убили, понял, а инженера ваши все шпионы, и ты будешь шпионом!

Кузнецов от этого крика так растерялся, что даже не воспользовался выгодной позицией, чтобы засветить сидевшему на корточках Профосову, а тот уже встал во весь рост и запел, закидывая в наслаждении голову и жмуря глаза, на мотив «Фон дер Пшика»: «Старушка, не спеша, дорожку перешла, ее остановил милицьёнер...»

Он пел, приплясывая, а когда допел до не известных раньше никому в Краснобельске слов «Абраму Сарочка готовит шкварочки», Кузнецов полоснул его лезвием ножика прямо по выгнутому и напряженному от пения горлу.

...Ну что вам рассказать еще? Давно это было, еще в пятьдесят четвертом году прошлого, ушедшего в непоправимую историю века. Вас тогда, конечно, еще на свете не существовало, да и родителей ваших, скорей всего, тоже. А Илюша Кузнецов уже был, сидел, запертый в учительской на ключ, и мама его, Сара Ильинична Кузнецова, врач-терапевт Краснобельской районной больницы, уже стояла на ватных ногах возле дверей хирургического помещения, где ее коллега, хирург Штерн Фридрих Вильгельмович, накладывал швы на горло негодяя Профосова (кстати, благополучно выжившего и вскоре попавшего по малолетке на три года за ночной взлом продуктового магазина и похищение оттуда товаров на сумму 452 руб. 46 коп.), и папа, Кузнецов Павел Андреевич, член ВКП(б) с 1941 года, рус-

ский, но действительно инженер райстройконторы, уже давал в кабинете второго секретаря райкома объяснения по поводу настроений в семье, и приближался неотвратимый после такого кошмара отъезд Кузнецовых из Краснобельска на поезде Челябинск – Москва, трое суток тащившемся по степям, изгибаясь на закруглениях пути, так что из окна становились видны другие вагоны, и оставляя за собой темно-серый и клокастый, как старый воротник из чернобурки, хвост паровозного дыма.

Кузнецов стоял в коридоре вагона, смотрел в окно, держась за блестящий стальной стержень, на который была надета сборчатая белая занавеска. За окном мчалась пустая степь, а Кузнецов не то заснул стоя, не то наяву ему примерещилось, но увидел он вдруг вместо серо-зеленой полынной степи красно-желтую песчаную пустыню и пошел по этой пустыне под огненным ветром, чувствуя ногами набивавшийся в сандалии песок, путаясь коленями в длинной холщовой одежде, опираясь на высокий посох, и усталый маленький осел шел за ним, оглашая сверкающее пространство рыданиями, и грозные всадники на верблюдах показались на краю пустыни, изрезав оком своими черными силуэтами, и изгнание вело его прочь из земли его.

Вот так все и началось.

Да так и продолжается. Только ножика – даже самого невинного перочинного – с тех пор Илья Кузнецов с собой никогда не носит. Некоторые имеют при себе не то что ножи с лезвием в ладонь длиной, необходимой, как известно, чтобы достать до сердца, но и модные в последнее время бейсбольные биты, и отлично сделанные старые кастеты с полированными стальными кольцами, и даже облезло-вороненные пистолеты ТТ китайского ненадежного производства, которых до заклинивания хватает на пол-обоймы, и обычные «макары», украденные ушлыми прапорщиками с войсковых складов, и чего только еще теперь не носят в карманах, не возят в тайных местах автомобилей, не пускают в ход спьяну, сдуру или с осознанной преступной целью! И все некоторым сходит с рук, а таким, как Кузнецов, и за негодный газовый баллончик могут срок навесить. Но он, Кузнецов, еще в детстве понял, что ему оружие не положено, и с тех пор до самого нашего колюще-режущего и огнестрельного времени никогда ни к чему такому не притрагивался и не притрагивается. Так и живет безоружным.

Зато летом шестидесятого года, в котором мы снова находим нашего героя, при нем был аттестат зрелости с серебряным окаймлением, означавшим почти отличное, с одной четверкой по географии, и, следовательно, с серебряной медалью окончание средней школы, – вот как вырос Кузнецов из обычных хорошистов. Да и географическая четверка была выведена после того, как на педсовете директор школы задумчиво спросил у завуча: «А вы, Зинаида Федоровна, с мамой Кузнецова знакомы?» Зинаида Федоровна недолго, но внимательно смотрела в директорские глаза, прежде чем ответить полувопросом: «С Сарой Ильиничной? Прекрасная женщина. И врач очень знающий...» На словах про врачебные качества Сары Ильиничны директор кивнул, а сказал вот что: «По поводу золотых медалистов в районе мнение неоднозначное». Ну и получил Кузнецов серебряную, конечно. Причем, заметьте, не то что про жидов, но даже и про евреев никто не заикнулся, педагогам такое и в голову не пришло бы, да и в районо к этой национальности относились с уважением, там даже один инспектор работал, так его фамилия была Фишман. Разные инспекторы – или инспектора, но скорее все-таки инспекторы, ведь районо как-никак – там работали. Владимиров, Сериков, Шкорлупко, Бессчастная Мария Николаевна, Хачатрян, Савельев Н.П., Ширяева... И пожалуйста, Фишман. Семен Маркович, между прочим. А вы говорите...

Да, совсем забыли: это все уже под Москвой происходило, поскольку к тому времени Кузнецовы жили в поселке Электроугли по Курскому направлению, где мама устроилась, конечно, терапевтом в ведомственной поликлинике, а папа тоже неплохо и по специальности – инженером в должности прораба на строительстве нового цеха.

С серебряной медалью и прорешенным вдоль и поперек задачиком Моденова, выпущенным специально для тех, кто при конкурсе до семнадцати человек на место все равно готовился поступать на мехмат, Кузнецов и пошел на мехмат. Там, в приемной комиссии, посмотрели его документы, удовлетворенно отложили в сторону аттестат и взялись за анкету. В анкете все было в полном порядке, родственников за границей не имелось, сам Кузнецов И.П., 1944 г.р., в белых армиях не служил, в плену и на оккупированных территориях никогда не находился, но, напротив, являлся комсомольцем. И все уже шло к благополучной выдаче экзаменационного листа и последующему несомненному включению Кузнецова в список поступивших, как взгляд какого-то мужчины средних лет, сидевшего справа от председателя приемной комиссии, упал на кузнецовскую анкету – и именно на то ее место, где сообщались сведения о родителях. Мужчина – а не Профосов ли была его фамилия? да нет, вряд ли – итак, мужчина присмотрелся, взгляд его стал внимательным, как у завуча на педсовете, и, минуту подумав, он доброжелательно спросил у носившего к тому времени очки Кузнецова, сколько диоптрий. Оказалось, что минус семь с половиной. «Ну, молодой человек, вам у нас трудно будет! – сочувственно сказал мужчина. – Начертательная геометрия, эпюры, графики, то-се... Как же вам справку-то по форме двести восемьдесят шесть выдали? У вас мама не врач?» Кузнецов, уже многое – хотя и не все, далеко еще не все – понимавший, уныло согласился, что врач. «Я вам в педагогический подать советую, – сказал мужчина. – На тот же мехмат. Или там физмат? И наверняка пройдете. А зачем вам обязательно в университет? Обязательно вам в университет...» Кому «вам», мужчина не сказал, и почему близорукому, имеющему маму-врача Кузнецову, будет легче управляться с начерталкой и эпюрами на физмате педагогического, чем на мехмате университета, не сказал тоже. Во всяком случае, о евреях никто и не заикнулся.

Кузнецов вышел на воздух и побрел от нечего делать к тому недалекому от университета месту, с которого видна была вся Москва.

За рекой был рассыпан город. Над разномерными коробочками домов врезались в небо редкие шпили, купола, постыдно голые без крестов, кое-где выпирали между крыш, словно груди кормящих баб в прорехи одежды, а на крышах яростно сияли под солнцем новые жестяные заплаты, и так же нестерпимо сияла река, рассеченная уходящим к центру речным трамваем. Кузнецов смотрел на Москву, но другой город он видел – черепичные бурые кровли, белые оштукатуренные стены, на стенах косые деревянные стяжки, круглая площадь с чумной колонной, острый клинок собора, занесенный над чужаком... И круглая черная шляпа давила на его голову, словно чугунная, и длинный черный сюртук стягивал грудь, не давая дышать, и крик толпы приближался, и бесконечная дорога лежала позади него и перед ним, искры кварца сверкали в камнях, которыми замощен был путь, скоро изотрутся по этим камням башмаки, а идти ему еще долго, ибо конца пути нет.

А в педагогическом было неплохо. Кузнецов даже получал повышенную стипендию, достигшую к последнему курсу сорока восьми рублей новыми, однако в аспирантуре Кузнецова не оставили – в конце концов, должны и в школу идти способные люди. А в аспирантуру из их группы приняли Профосова (просто однофамильца), тоже толкового парня.

В московских школах мест, конечно, не было, точнее, было очень мало, и Кузнецов даже почти не расстроился, когда его распределили в город Кривой Рог. Кузнецову показалось, что среди членов комиссии по распределению он узнал мужчину средних лет, который когда-то отсоветовал ему поступать в университет, но этого быть, конечно, не могло – где университет, а где педагогический... И ведь пять лет прошло, а мужчина совершенно не изменился... Нет, просто похож, видимо. Мужчина глянул на Кузнецова мельком и стал смотреть вдаль, в глубину пустого и темного актового зала, где происходило заседание комиссии. А Кузнецов отправился в Кривой Рог...

Честно говоря, уже надоело нам описывать жизнь Ильи Кузнецова – все и так ясно с этой жизнью. Да, существовало закрытое инструктивное письмо, разосланное из инстанций по всем предприятиям и учреждениям, рекомендовавшее проявлять особый подход при приеме на учебу и работу лиц тех национальностей, которые «имеют свои государства в мире» – так вроде бы написано было в том письме. То есть кроме евреев и ни в чем не повинных корейцев, греков, турок, испанцев, немцев, конечно... А возможно, что такого письма и не было никогда. И никакого мужчины средних лет не было, хотя все-таки надо согласиться, что мужчин средних лет у нас было полно, да и сейчас встречаются. И Профосова не было... Нет, уж Профосов-то был точно. Тот самый Петька Профосов, малолетний хулиган, после колонии взявшийся за ум, закончивший ремесленное и проработавший потом вплоть до инвалидности на теплосетях, а сын его, Профосов Николай Петрович, после действительной пошел в ГАИ, будущее ГИБДД, получил по лимиту двушку на троих членов семьи, сам четвертый, в Выхине, дослужился до поста на правительственной трассе, впоследствии в результате нервной травмы при исполнении служебных обязанностей был уволен из органов по здоровью и устроился, говорят, в частное охрannое предприятие, а папаша его к этому времени уже давно помер от почек, похоронили его на Митинском кладбище, так что там, если знаешь участок, можно найти и надпись на сделанном из бетона с мраморной крошкой камне: «Профосов П.Н. 12.VI.1940 – 26.V.1987», и уж это даже самого недоверчивого из вас убедит в том, что был, был Профосов!

Ну а Кузнецов, с которым все ясно, пожил в Кривом Роге под бесконечно тянувшимися серо-желтыми производственными тучами, поучил криворожских детей алгебре, геометрии с тригонометрией, физике и черчению, побыл классным руководителем и, уже будучи на отличном счету в городском отделе народного образования, сделался главным претендентом на освободившуюся должность директора школы, однако директором, как легко догадался к этому месту рассказа любой наш с Кузнецовым ровесник, не стал. Там ведь как получилось: пост директора мог занимать, понятное дело, только член партии, и райком даже выделил под Кузнецова квоту на прием одного человека от интеллигенции, поскольку, кроме Кузнецова, в директора выдвигать было некого, в школе коллектив подобрался, конечно, чисто женский. Но документы предварительно пошли на соответствующую комиссию, там стали разбираться с анкетой – ну и тормознули. Сам Кузнецов на комиссии не присутствовал, но ему потом по секрету рассказала школьный парторг Лидия Алексеевна, русский и литература, с которой у Ильи Павловича были дружеские отношения, но ничем, слава богу, не кончившиеся – хороши бы они оба потом были, она партийная, а он... Ладно, это позже. Так вот, Лидочка вывела его из учительской и на лестнице между вторым и третьим этажами, где они нередко как бы предотвращали езду учеников по перилам, шептала ему всю большую перемену, что на комиссии все шло нормально, согласовали и кандидатуры рекомендующих, и общественную нагрузку на время кандидатского стажа, но тут какой-то мужчина средних лет, которого она не знает, вчитался в анкету, потом подвинул листок председателю комиссии, и сразу же настроение переменялось, буквально за две минуты решили пока повременить, представляешь! Кузнецов даже не стал расспрашивать про мужчину, и так все понял. Чего тут понимать, если мать – еврейка и по израильским законам получается он чистый еврей?

Плюнул Кузнецов и уехал из Кривого Рога, где уже начал понемногу покашливать, снова в Электроугли, где поселился опять с родителями и пошел работать в школу. Был он устойчиво холост, начал с макушки лысеть и постоянно о чем-то сосредоточенно думал, а о чем – выяснилось, когда спустя некоторое время умерли родители. Вышли уже оба на пенсию, отец что-то строгал на балконе да там и упал, а через три дня с похорон увезли на скорой в больницу мать, и, сколько ни хлопотали уважавшие Сару Ильиничну коллеги, к утру остался Кузнецов один на свете. Прибежал он в больницу, долго искал морг, нашел его

позади пищеблока и, ожидая перед дверями, услышал, как внутри помещения переговариваются работники. «Которую готовить?» – спросил один. «А во-он ту, еврейку», – ответил другой, не сделав, подчеркнем, никакого негативного акцента на последнем слове, а лишь указав таким образом примету для поиска покойницы по чертам лица или еще по каким-то особенностям, нам неизвестным.

Именно в этот миг Кузнецов почти додумал – но не до конца, еще не до конца – мучившую его в последние годы мысль. Предшествовавшая жизнь стала ему ясна, как она уже давно ясна нам с вами.

«Ты избрал народ, – думал Кузнецов, не называя имени того, кто избрал (вот ведь интересно, откуда знал отличник по научному атеизму, русский по отцу и по паспорту, что неназываемо имя Его?!), – зачем же отдан избранный народ в унижение и бесприютность? Или для того мы избраны Тобою, чтобы странствовать по земле, покуда не найдется в ней места каждому из нас? И куда следует мне направить теперь взор свой, и душу мою, и каждый шаг мой? Будет ли мне дан ответ Тобою, или одному мне предстоит искать ответа?»

Так думал Кузнецов. Не додумавшись же до окончательного решения, сделал вот что: запер квартиру в Электроуглях, отдал ключ соседям и пошел по миру.

Трудно теперь восстановить его путь, но кое-какими сведениями мы располагаем.

Например, достоверно известно, что некоторое время он провел в Ростове-на-Дону. В этом прекрасном старинном городе есть огромный театр, построенный романтиками в виде трактора, – тогда же, кстати, когда в Москве построили Театр Красной армии в виде пятиконечной звезды. Ну а в Ростове вот в виде трактора. Настоящий трактор с кабиной и гусеницами, только из бетона и большой. Так одну из гусениц в семидесятые, в застое и разложении, отдали под пивную. И как раз в этой пивной часто можно было встретить Кузнецова. Стал он носить по тогдашней моде длинные волосы, посередине которых все увеличивалась лысина, джинсы клеш, неведомо где добытые, и узенькую короткую курточку, так что всем своим обликом хиппи вызывал неприязнь нормальных людей. Но в пивной к нему относились терпимо, пока не оказался он однажды за столиком с каким-то мужчиной средних лет. Мужчина допил «жигулевское» – надо сказать, вчерашнего завоза – и, внимательно посмотрев на Кузнецова, негромко спросил с местным выговором: «Ну шо, до Палэстины пора, хлопец?» Мужчину Кузнецов, естественно, узнал.

Кое-кто встречал Кузнецова в Ленинграде. Что он там делал, неизвестно, во всяком случае, учителем уж точно не работал. Так просто шел по Литейному, посматривал на серые, взявшиеся кое-где заметной плесенью дома, отворачивал от мокрого ветра лицо... Мелькнул в толпе какой-то вроде бы знакомый, Кузнецов обернулся, долго смотрел вслед, но мало ли на свете мужчин среднего возраста? Что и было тут же доказано: засмотревшийся назад Кузнецов налетел на первого же встречного, который проявил понятное недовольство в следующих словах: «Ты, шмуль, еще одни очки надень. Не пройдешь от вас, куреды...»

И в Киеве бывал Кузнецов. Сидел в вареничной на Крещатике напротив цирка, ел вареники с картошкой – ах, восхитительная была та вареничная, поверьте, восхитительная! – и вдруг услышал за спиной громкий шепот: «Дывись, доча, який жид!» Обернулся, а там женщина сидит с маленькой девочкой, вареники с вишнями кушают и смотрят на него обе с жутким интересом, такие очаровательные! К слову, если вы по-прежнему испытываете недоверие к художественной правде этого рассказа, вот вам точные данные. Женщину звали Татьяной Теребилко, а дочь ее Олей, в Киев приехали они из города Феодосии в надежде купить недорогого импорта, чехословацкого или из ГДР, теперь же Ольга живет в Москве, и вы ее наверняка знаете, она... Олеся Грунт по мужу, вот кто! Ну, поверили? То-то же. Так что можете при встрече спросить у этой популярной девушки, не запомнился ли ей такой смешной, лысый, в очках, патлы длинные, которого ей мама показывала в вареничной. И удостоверитесь, что действительно был такой Кузнецов, точно соответствовавший нашему

описанию... То есть почему был? Он и сейчас есть, дай ему бог здоровья на долгие годы, как говорится. А вот Олеси, между прочим, что-то давно не видно нигде, все небось на Ибике оттягивается. Но, как появится, обязательно спросите.

Впрочем, это все к слову. А вот что действительно интересно: мужчины никакого в той вареничной Кузнецов вообще не видел. Ему и без мужчины хватило.

Еще Кузнецов пожил немного в Омске, Архангельске, поселке Сортировка Хабаровского края, Кишиневе, Октябрьске Куйбышевской области и даже вроде бы в городе с непременосимым названием Мончегорск...

И повсюду средних лет мужчины сталкивались с ним в уличной толпе, оказывались за одним столиком в вокзальном стоячем буфете, сидели напротив в вагоне ленинградского метро, лежали рядом на пыльном ялтинском пляже, а иногда вдруг обращались в молодых красивых женщин, или в пожилых нетрезвых дядек, или в носящихся с криками вокруг давшей ему отдых бульварной скамейки детей, или даже в бездомных пригородных собак, или в ворон, передвигавшихся приставным шагом в дерзкой близости и посматривавших на него искоса. И в говоре толпы, в бормотании попутчиков и соседей, в собачьем лае и картавом вороньем оре слышалось ему все одно и то же, одно и то же, одно и то же.

Нет конца дороге, ноги в кровь сбиты, стучит за рощей, как молоток взбесившегося плотника, пулемет, а вот и разъезд показался, вылетели кони из оврага, заплясали, завертелись на месте, удерживаемые железными руками, и надо бежать, покуда не заметили кавалеристы одинокую фигуру, но куда ж бежать в поле, да и зачем бежать, если избавление скачет навстречу, посвистывая шашкой в опущенной руке, поднимая драгунку для меткого выстрела с ходу... Но не наступит сейчас избавление, не мечтай, несчастный, и иди путем, назначенным тебе.

Словом, в конце концов мы его мысленно видим на улице Архипова в Москве перед ампирическим желто-белым фасадом, среди других людей, топчущихся, как и он, без очевидной цели. Вот сошлись двое, поговорили негромко и непонятно для случайного прохожего – и разошлись... А немного позже Кузнецов обнаруживается нами уже в Колпачном переулке, в каком-то казенном здании с узкими коридорами, в которых не протолкнуться от народа. Не то с Архипова все эти люди сюда перебрались, не то другие такие же набились...

Ехал Кузнецов через Вену. Гулял, смотрел на узкие трамваи, вопреки трамвайному естеству двигавшиеся бесшумно, на огромный собор с маленькой, выложенной плитками, как хороший санузел, площадью перед ним, на необхватные деревья, с которых будто только что вытерли пыль влажной тряпкой. Однажды остановился, заглядевшись на какую-то удивительную мелочь, – и вдруг почувствовал, что и его рассматривают. «Так я и знал, – подумал Кузнецов, – так я и знал». Мужчина средних лет, рассматривавший Кузнецова, сказал что-то на неизвестном Кузнецову здешнем диалекте неизвестного Кузнецову немецкого языка, но по крайней мере одно слово Кузнецов разобрал. Собственно говоря, оно звучало почти так же, как по-русски или по-украински.

В Иерусалиме дул горячий ветер, а с неба тек холодный свет. Кузнецов шел по пустой окраинной улице, застроенной новыми двух- и трехэтажными краснокирпичными домами. Навстречу ему из-за угла вылетел мальчишка лет двенадцати на велосипеде, он гнал изо всех сил, стоя на педалях и прижимая подбородком накиннутый на плечи рябой черно-белый платок. Проезжая, он глянул Кузнецову в лицо прекрасными томными глазами и улыбнулся. Через полминуты Кузнецова что-то сильно ударило в спину, он обернулся и увидел осколок кирпича на тротуаре, пустую улицу и мальчишку, аккуратно положившего велосипед набок и выбиравшего следующий снаряд из кучи строительного мусора.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.